

Место встреч и расставаний

Автор:

[Сара Джио](#)

Место встреч и расставаний

Сара Джио

Кристина Макморрис

Карен Уайт

Дженна Блум

Аманда Ходжкинсон

Пэм Дженофф

Мелани Бенджамин

Сара Маккой

Элисон Ричман

Эрика Робак

Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт

Каждый день бесчисленное множество людей проходит через Центральный вокзал города Нью-Йорка, мимо информационного стенда и через «шепчущую галерею» со знаменитыми часами. У каждого человека своя уникальная судьба.

Лучшие авторы романтических бестселлеров, вдохновившись культовым памятником архитектуры, создали десять историй, действие которых

происходит в один и тот же удивительный день – великий день мира, первый после окончания Второй мировой войны. Это время неопределенности, надежды, перемен и жажды возрождения и любви.

Место встреч и расставаний

сборник

Grand Central K. White, P. Jenó, A. Richman, M. Benjamin and K. McMorris

Copyright © 2014 by Penguin Random House LLC “Introduction” copyright © 2014 by Kristin Hannah “Going Home” copyright © 2014 by Alyson Richman “The Lucky One” copyright © 2014 by Jenna Blum “The Branch of Hazel” copyright © 2014 by Sarah McCoy “The Kissing Room” copyright © 2014 by Melanie Benjamin “I’ll Be Seeing You” copyright © 2014 by Sarah Jio “I’ll Walk Alone” copyright © 2014 by Erika Robuck “The Reunion” copyright © 2014 by Kristina McMorris “Tin Town” copyright © 2014 by Amanda Hodgkinson “Strand of Pearls” copyright © 2014 by Pam Jenó “The Harvest Season” copyright © 2014 by Karen White

© Миронов И., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

?

Новобрачная ожидает на платформе прибытия с войны своего мужа.

Человек, переживший Холокост, работает в «Ойстер Баре», где посетитель напоминает ему его покойную мать...

Мечтающая о Голливуде девушка ожидает в «Комнате поцелуев» свои первые кинопробы и шанс стать звездой...

Каждый день бесчисленное множество людей проходит через Центральный вокзал города Нью-Йорка, через «шепчущую галерею», под звездным сводом, мимо информационного стенда с ее манящими часами с четырьмя циферблатами в те места, что зовут их. И у каждого есть своя история.

А теперь десять авторов бестселлеров, вдохновленные культовым памятником архитектуры, создали свои собственные истории, случившиеся в один и тот же день после окончания Второй мировой войны, во времена надежды, неопределенности, перемен и возрождения...

Место встреч и расставаний

Предисловие

Я родилась в солнечной южной Калифорнии в те времена, когда мир был проще и безмятежнее. Я гоняла на своем велике в магазин и покупала содовую и шипучки. Со своими друзьями мы строили форты на наших ухоженных задних дворах и проводили воскресные дни на пляже с нашими мамами, барахтаясь и брызгаясь в воде. В моем уголке земного шара всегда светило солнце. Папы днями напролет работали, и их редко можно было увидеть дома; от мам, как ни старайся, было невозможно скрыться. С заходом солнца мы все гнали на наших велосипедах по домам и собирались за столом на ужин, где нас всегда ждало горячее жаркое.

Мне и двенадцати не исполнилось, когда война во Вьетнаме изменила мир вокруг меня. Внезапно начались протесты, сидячие забастовки и марши по выходным, а полиция стала использовать защитное снаряжение против студентов колледжей. В ежевечерних новостях рассказывали о потерях противника и о бомбах, падающих где-то далеко. Затем наступил Уотергейт[1 - Уотергейт - политический скандал в США 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона.]. С этого момента уже ничто не казалось безопасным или надежным.

Став старше, я взялась за книги о далеких планетах и неизведанных мирах. На моей прикроватной тумбочке лежали романы Толкина, Хайнлайна, Брэдбери, Герберта. Я не вылезала из книг. Меня постоянно уговаривали оторваться от чтения и оглядеться вокруг - особенно на семейных каникулах. В старших классах уже Стивен Кинг держал меня за руку и нашептывал мне на ухо, что зло существует, но его можно победить... если ты будешь достаточно сильной, если ты сможешь по-настоящему поверить. И я верила.

И только позднее, когда я выросла, вышла замуж и сама стала матерью, я стала видеть жизнь в контексте, стала видеть, насколько сильно отличались шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые от того, что было раньше. Думаю, именно тогда я и влюбилась в литературу о Второй мировой войне.

Вторая мировая. Сегодня мне больше ничего и не требуется. Скажите мне, что действие романа происходит во время войны, и вы уже привлекли мое внимание. Добавьте, что это эпопея или любовная история, и я тут же закажу книгу.

Есть в этой войне что-то безусловно особенное, по крайней мере, для современного читателя, то есть в ретроспективе. Вторая мировая – последняя великая война для американцев, последний раз, когда добро было добром, а зло – злом, и было невозможно их перепутать. Это было время народного самопожертвования и общих целей. Время, когда мы все были едины в том, что важно, за что стоит сражаться и умирать. Женщины носили белые перчатки, а мужчины – шляпы. Сквозь призму сегодняшнего спорного времени это кажется почти невозможно романтичным и утонченным. В нашем современном разобщенном и противоречивом мире многим хочется взглянуть мельком на те забытые времена, когда, кажется, было легче выбрать правильный путь и следовать ему. «Величайшее поколение». Вот что мы видим, оглядываясь назад. Неудивительно, что истории о мужчинах и женщинах, живших и любивших в ту эпоху, захватывают наше воображение и держат его так крепко.

Вторая мировая, как и большинство войн, рассматривается прежде всего с позиции мужчин. Мы изучаем в школе сражения и схватки, бомбы и ракеты. Мы видим фотографии мужчин, марширующих по морским берегам и взбирающихся на склоны холмов. Мы узнаем о совершенных зверствах и вспоминаем о потерянных жизнях, если не поколениях. Но лишь недавно мы начали обращать наше внимание на женщин.

В романе о Второй мировой войне, который я сейчас пишу, один женский персонаж говорит своему сыну: «Мы, женщины, находились в тени войны. Нам не устраивали парадов, нам давали не так много медалей», и я считаю, что так оно и есть. В многочисленной беллетристике на военную тему про женщин совершенно забывают, в то время как правда об их участии удивительна и убедительна и заслуживает того, чтобы встать на первый план в спорах о последствиях войны. Женщины были и разведчицами, и пилотами, и дешифровщицами. И не менее важной была их роль в тылу. Пока в мире бушевала война, а мужчины ушли на фронт, именно женщины хранили домашний очаг, то безопасное место, куда солдаты могли вернуться. Многие рассказы в этой антологии сосредоточены на женщинах и их жизнях в единственный день 1945 года, когда война уже закончена, но далеко не забыта. Каждому нужно было перестроить свою жизнь после Второй мировой войны: мужчинам, которые возвращались домой; женщинам, которые старались вернуться к жизни, изменившейся до неузнаваемости; детям, которые совершенно ничего не помнили о мирном времени. Эти темы до сих пор находят отклик у современного читателя.

Я была очарована рассказами из этого сборника. Эти талантливые авторы приняли необычную композицию и создали последовательный цикл рассказов. В этом цикле один день на Центральном вокзале – в парадной плавильного котла под названием Америка – становится отправной точкой для десяти совершенно разных историй, которые, если прочесть их вместе, ткнут прекрасный гобелен, изображающий мужчин и женщин в военные годы. В некоторых герои обретают новые жизни после ужасающих потерь; в других герои борются с ужасными последствиями войны и стараются верить в лучшее будущее. И во всех них мы видим изменения, порожденные Второй мировой, и сражения, которые предстоят дома только лишь для того, чтобы выжить и начать все заново. И красной линией через все рассказы проходит музыка утраты и возрождения; мысль, что такая простая вещь, как мелодия, сыгранная на скрипке на железнодорожном вокзале, может напомнить кому-то обо всем том, что потеряно... и обо всем том, что еще можно приобрести вновь.

Кристин Ханна

Возвращение домой

Элисон Ричман

Стивену, моему скрипачу.

И с особой благодарностью Джоан Роджерс

Сводчатый потолок ли придавал особую акустику этому зданию, или виной тому были мраморные полы – он не знал. Но в некоторые дня, когда прохожих было не так много, Григорий Яновский мог закрыть глаза, прижать подбородок к скрипке и убедить себя, что Центральный вокзал[2 - Grand Central Terminal – старейший и известнейший вокзал Нью-Йорка.] – это его любимый Карнеги-холл.

Несколькими месяцами ранее он нашел на вокзале идеальный для себя уголок – прямо перед входом в метро, в переходе на Лексингтон-авеню. Он располагался достаточно далеко от гроыхания железнодорожных путей и в то же время был

довольно людным, чтобы приносить Григорию по несколько монеток каждые пару минут.

Каждое утро он приезжал пораньше из своей квартиры на Деланси-стрит и взбирался по ступеням со станции метро с расправленными плечами и высоко поднятой головой. Футляр для скрипки в руках заставлял его чувствовать себя особенным среди пригородных пассажиров. Ведь внутри отделанного бархатом корпуса прятался источник волшебства, музыки, искусства, которого было не найти ни в одном портфеле мира.

И несмотря на то что его пиджак и тонкие фланелевые брюки серого цвета не шли ни в какое сравнение с более модными костюмами от «Пол Стюарт» или «Брукс Бразерс», которые носили мужчины, ежедневно прибывающие на поездах из Ларчмонта или Гринвича, Григорий ощущал, что он не ограничивается невзрачностью своего одеяния. Его элегантность таилась в простоте и четкости его движений. В том, как он прижимал свой инструмент к ключице. В изяществе, с которым он поднимал смычок. И это вовсе не было манерностью, которой обучали в пансионах для девушек или за столами семей из глубинки.

Он и его инструмент нуждались друг в друге, как партнеры в вальсе. Без одного из них не могло быть музыки.

В Польше, будучи ребенком, Григорий не раз наблюдал, как его отец, Йозек, каждый вечер погружает кисти рук в молоко, чтобы размягчить мозоли после целого дня колки дров. Йозек обучился ремеслу изготовления бочек у своего отца, но втайне он мечтал создавать музыкальные инструменты. Бочки приносили ему деньги, а значит, обеспечивали пищу на столе и крышу над головой, но душу его питала именно музыка.

Пятничными вечерами Йозек приглашал кого-нибудь с инструментом в их дом, чтобы наполнить его музыкой ради жены и ребенка. Григорий все еще помнил, как отец кружил его по комнате, пока сосед играл на балалайке. После стольких лет он все еще помнил смех отца. Он даже мог подстроить скрипку под этот звук. Это было идеальное «ля».

Во время поездок в Краков на телеге, где сзади стояли отцовские бочки, а спереди сидел юный Григорий, отец с сыном напевали, бывало, вместе разные

мелодии. Иногда Йозек останавливал телегу возле церкви, чтобы сын мог послушать органную музыку. Григорий, казалось, оживал, когда его отец демонстрировал ему самые разнообразные мелодии, будь то народная музыка в их поселке или разносящийся из окон городской музыкальной школы Моцарт. Но еще удивительнее была поразительная способность мальчика напевать услышанные им мелодии, не пропуская ни единой ноты.

Однажды вечером, когда шел такой сильный дождь, что Григорию казалось, что крыша вот-вот обрушится, раздался стук. Открыв дверь, его мама обнаружила перед дверью друга Йозека, Льва, с незнакомым ей мужчиной.

– Мы попали в бурю, – произнес Лев. – На моей телеге оторвалось колесо.

Он жестом указал на стоящего рядом мужчину с натянутой на глаза шляпой.

– Я хотел отвезти брата моей жены, Зелика, к нему домой.

Дрожа под дождем, Зелик приподнял руку в приветственном жесте. В другой его руке отец Григория заметил небольшой темный чехол, по форме напоминающий силуэт. Он инстинктивно понял, что там должна лежать скрипка.

– Заходите, пока инструмент не испортился, – проговорил Йозек, приглашая их взмахом руки.

Его жена забрала мокрые пальто и развесила их у огня, а Йозек и Григорий смотрели, как Зелик кладет скрипичный футляр на стол и отпирает его. Все охнули, увидев сверкающий инструмент, который, к счастью, не пострадал из-за дождя.

Григорий до сих пор помнил эту картину: Зелик вынимает скрипку из футляра, извлекая инструмент, словно чародей. Он все еще помнил то накатившее на него чувство волшебства, когда Зелик положил подбородок на боковину скрипки, поднял смычок и начал играть. Зелик очаровал всех музыкой, завихрившейся завитками и арабесками; ноты наполнили комнату и заглушили бурю за окном.

Зелик пристукивал ногой по полу и покачивал головой из стороны в сторону. Если бы радость была звуком, то Григорий слышал его тем вечером от смычка Зелика, скользящего по струнам. Когда молодой человек в конце концов вложил инструмент Григорию в руки, наставляя того, как нужно держать смычок, все мысли мальчика устремились к тому, чтобы научиться играть самому. Этот инструмент был способен рассказывать о печалях и петь о радости без единого слова.

Следующим утром, когда взошло, высушивая сырое дерево и грязные дороги, солнце, Зелик дал Григорию последний урок. Григорий бережно взял инструмент в сложенные ковшиком руки. Он провел ладонью по длинному тонкому грифу и прикоснулся пальцами к скрипичным колкам. У него возникло чувство, что он впервые притрагивается к прекрасному.

Зелик тут же увидел, насколько естественно рука мальчика взяла смычок, и услышал, что у того врожденный музыкальный слух. А еще Зелик, прикрыв глаза, осознал: Григорий не просто чувствовал музыку; она исходила из него, словно бы он дышал каждой нотой. Пожимая руку Йозека и благодаря его за пристанище на ночь для него и Льва, Зелик прошептал на ухо мужчине: «У вашего сына талант. Продайте, что сможете, купите ему скрипку и найдите возможность обучать его. И сделайте это как можно скорее».

Йозек смог раздобыть своему сыну скрипку в обмен на двенадцать бочек для засолки, сделанных из его лучшего дерева. Отложив достаточную для пропитания семьи сумму, Йозек все оставшиеся деньги оставил на оплату уроков учителю музыки из соседнего поселка. Григорий быстро научился играть гаммы, а затем перешел к более сложным этюдам и сонатам, на изучение которых другим детям обычно требовалось гораздо больше времени.

Время от времени Йозек брал мальчика с собой в Краков, чтобы у того была возможность играть с аккомпаниатором на фортепиано. К десяти годам Григорий уже мог играть все концерты Моцарта. А в пятнадцать он взялся за Мендельсона.

Но как бы он ни любил музыку классических композиторов, после еженедельных ужинов на Шаббат Григорий всегда играл музыку своего штетла[3 - Штетл – небольшое, как правило, поселение полугородского типа, с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в исторический период до Холокоста.]. Глядя на него, мать улыбалась, а отец подливал вина соседям.

Став старше и продвинувшись в своем мастерстве, он стал помышлять о том, чтобы однажды сыграть концерт в прославленной Краковской музыкальной академии и дать сольные концерты при свечах по всей Европе. Но его мечты рухнули однажды ночью, когда он услышал звук разбитого стекла и крики матери.

Прежде квинтэссенцией его юности была тарелка супа, кусок хлеба и родители, улыбающиеся при звуках его скрипки. Но той ночью ею стали звуки ужаса и ненависти. Даже через пятнадцать лет, когда он играл в безопасности и великолепии Центрального вокзала, темные воспоминания о его последних днях в поселке часто возвращались к нему. Образ его отца, которого выволакивает из дома озлобленная толпа. Запах горящих бочек. Крики матери в темноте, когда сельчане подожгли их дом, а отец лежал на земле окровавленный и неподвижный. Звучащее как ругательство слово «жид», рассекающее воздух, словно коса.

Григорий стоял и смотрел, пассивно наблюдая, как рушится его семья. Он хотел броситься вперед, присесть возле отца и вытащить осколки стекла из его похожей на расколовшуюся тыкву головы. Он рвался обнять отца и вернуть тепло, которое покидало тело, заставляя его синеть на глазах у Григория. Но его конечности совсем не двигались. И только когда дом его семьи вспыхнул, он почувствовал, как ноги под ним зашевелились. Они двигались не намеренно, а инстинктивно – шатаясь, он двинулся к огню, чтобы спасти свою скрипку.

Менее чем через год после этого семнадцатилетний Григорий шел по Эллис-Айленд. С деньгами ему помог дядя, которого мама не видела много лет. В одной руке Григорий нес небольшой кожаный чемодан, в другой – свою скрипку. А под тканью его штанов скрывались красные пятна ожогов, опоясывающих одну ногу. Шрам и сам походил на огонь – неизменный алый факел, превративший его кожу в пересеченный рельеф. Вечное напоминание о той ужасной ночи.

Деньги Григорию дядя дал не только из сострадания; он был уверен: музыка мальчика могла привлечь посетителей в его ресторан в Нижнем Ист-Сайде. В первый вечер Григорий достал свою скрипку в набитой битком квартире на Деланси-стрит и исполнил серенаду своей новой семье. Женщины, оставив в раковинах немытую посуду, уселись на стульях, слушая, как он играет.

Осмотрев комнату и увидев прикованных к месту женщин, дядя Григория уверился в том, что к концу недели все столики в его ресторане будут заняты.

Почти каждый вечер на протяжении трех лет Григорий играл бесчисленные мазурки и тарантеллы для посетителей, наслаждающихся борщами и голубцами. А он, в какой-то степени, наслаждался теплом ресторана. Посетители со своими семьями напоминали ему его выступления на Шаббат еще там, в штетле. Но не о таком исполнении мечтал Григорий, будучи моложе. Как новоявленный иммигрант в стране, которая по сравнению с Европой казалась столь богатой и полной перспектив, Григорий хотел использовать все возможности. Он не собирался всю жизнь исполнять серенады мужчинам и женщинам, пока те поглощают пироги и капусту его дяди. Он все еще вынашивал мечту – играть на сцене с оркестром, – исполнить которую ему до сих пор не представилось возможности.

Поэтому, увидев в оставленной как-то вечером одним посетителем газете объявление о том, что театр «Новый Амстердам» устраивает прослушивания для музыкантов, желающих попасть в их симфонический оркестр, Григорий воспринял это как знак. Как случай, которым следует воспользоваться. Он собрался с духом и пошел в театр. Там оказалось меньше людей, чем он ожидал, так как многие отправились на войну. Сам он избежал этой участи из-за жутких шрамов на ногах. И все же на прослушивание пришло так много талантливых музыкантов, что когда Григорию предложили место в качестве одной из вторых скрипок, он чувствовал себя так, словно сбылась его мечта.

Несмотря на свою новую работу, у Григория оставались свободными утренние часы. Он выбрал для репетиций одно найденное им местечко в Нью-Йорке, которое он любил больше всего. Прямо перед входом в Вандербильт-холл, напротив кондитерской тележки Мюррея и кабинки для чистки обуви Джека. Центральный вокзал был его собственной любимой сценой.

Дополнительные деньги за уличные выступления, конечно же, радовали его. Иногда Григорий едва покрывал свои расходы на билет в метро и обед, но у него было гораздо больше причин играть на Центральном вокзале, чем просто несколько долларов прибавки к его ежедневному заработку: акустика, сводчатый потолок, бирюзовая штукатурка, позолоченные созвездия

и кинетическая энергия пригородных пассажиров. Ему казалось таким захватывающим движение вокруг – он словно находился в эпицентре тысячи сливающихся воедино миров. Он ощущал грохот подземки под ногами и ветер из тоннелей, движущийся туда-обратно сквозь латунные двери. Здесь официантки смешивались с вернувшимися с войны солдатами, а банкиры в полосатых костюмах бежали рядом с мужчинами, работающими лифтерами в офисных небоскребах на Пятой авеню.

А еще были те несколько утренних минут, когда он наклонялся и бросал несколько монет на бархатную подкладку своего футляра, чтобы побудить других сделать то же самое. В эти мгновения он мог услышать мелодию шагов. Это была симфония для его ушей. Он слышал, как скакал ребенок в лакированных туфлях по мраморному полу, как мягко шаркал банкир в оксфордских ботинках или как упирался в пол костыль раненого солдата.

Но однажды он услышал легкую дробь шагов настолько непохожих на все те, что годами барабанили по мраморному полу, что у него кольнуло сердце. Шаги легкие, почти невесомые, словно каблук едва касался земли. Даже не поднимая глаз, он узнал энергичную пружинистую поступь танцовщицы.

Он поднял взгляд и увидел красивую женщину, направляющуюся в его сторону. Она только что поднялась из метро; ее зеленое шелковое платье развевалось, как потревоженные края лепестков тюльпана. Вмиг перед ним возникло ее лицо: бледная кожа, темные волосы и лукавые глаза, выглядевшие нездешними. Она не походила на типичную американку – точнее на то, как себе представлял американок Григорий, – хотя он знал: каждый тут мог претендовать на иностранное происхождение. Но мысленно Григорий относил к американскому типу лица людей английского или ирландского происхождения с их тонкими, острыми чертами и кожей, нежной, как персик. У этой же девушки были высокие скулы и цвет лица, напоминающий ему девушек из его поселка. Но, на самом деле, она могла быть из любой страны Центральной или Восточной Европы, подумал он. Венгерка или литовка. Польша или, может, русская. Или даже чешка.

Ее шаги замедлились, и теперь она стояла всего в нескольких футах от него. Она остановилась перед кондитерской тележкой, в которой продавали глазированные пончики за пять центов и яблочный штрудель – за десять. Вокруг нее собрались еще с дюжину других пассажиров, жаждущих отведать чего-

нибудь сладенького, прежде чем окунуться в утреннюю работу.

Шелк платья не мог скрыть ее длинных ножек и стройной спины. Ее черные волосы обрамляли нежными кудряшками лицо, словно у восходящей звезды в кинофильме. Но при этом движения ее были какими-то старомодными и немного робкими. Так человек, родившийся не в Америке, мог искать в кошельке нужные монеты, или кто-то, только что прибывший на Манхэттен, мог слегка отодвинуться, когда кто-то задел его рукавом. Он отметил разницу в том, как она двигалась, когда никого рядом не было и когда она попадала в группу людей. Легкость сменялась осторожностью. Словно за маской беззаботности находилось что-то более сложное – то, что она прятала под лучезарным внешним видом. Григорий не боялся этого. Наоборот, это восхищало его еще больше. Контраст походил на саму музыку. На поверхности нетренированный слух слышал лишь красоту, когда он играл что-нибудь вроде «Адажио соль минор» Альбини. И только некоторые слышали исходящую от струн грусть. Две противоположные эмоции, сплетенные, как нить, истинная сущность человеческой души.

Григорий быстро сообразил, как лучше всего привлечь ее внимание. Он еще не начал играть в то утро, и пока он стоял, держа в руках скрипку, его разум лихорадочно работал, выбирая мелодию. Он отчаянно хотел найти способ впечатлить ее, заставить остановиться – хоть на секунду – и обратить внимание на музыку, предназначенную ей одной.

Его тут же осенило: если бы он сумел подобрать что-то, что напомнило бы ей о своей родине, этого бы хватило, чтобы заставить ее замереть и задержаться хоть ненадолго.

Но время уходило, пока он наблюдал, как она расплывается за что-то, похожее на небольшой кусок штруделя, надежно завернутый в пакет из вошеной бумаги.

Его сердце учащенно забило. Он знал, что Моцарт никогда не подводил его в толпе, поэтому он заиграл «Маленькую ночную серенаду». Она была достаточно известной, так что даже если девушка и не была из Австрии, то все равно узнала бы мелодию и подошла к нему. А потом, закончив, он мог спросить ее, откуда она, и их разговор полился бы естественно, как танец.

Он играл, полуприкрыв глаза, не желая отводить от нее взгляда ни на секунду. Водя смычком по струнам и приподнимаясь в такт музыке, он видел, как она погрузила пальцы в бумажный пакет и выудила оттуда выпечку. И хоть мелодия стала еще веселее, девушка, казалось, совершенно не обратила на него внимания.

Удрученный, Григорий наблюдал, как она направилась в сторону выхода на Лексингтон-авеню, как шевельнулись под платьем ее бедра, когда она толкнула тяжелые, обитые медью двери.

Перейдя Лексингтон и миновав отделение банка «Бауэри Сэвингз» и газетный киоск, Лизель быстро зашагала вперед, огибая пожилых прохожих, которые мешали ее продвижению. Она очень гордилась своей пунктуальностью. Ей не нравилось заставлять мистера Штейна ждать. Если он попросил прийти в час тридцать пополудни, то она будет в здании на несколько минут раньше. Как раз оставалось достаточно времени, чтобы взбить прическу и пригладить платье.

А еще она не хотела появиться в его офисе с кусочками штруделя на губах. Поэтому она быстро доела и, на углу Сорок шестой улицы и Лексингтон-авеню, вытащила салфетку и промокнула губы, чтобы убедиться, что на них не осталось ни единой крошки. Она достала из сумочки пудреницу и нанесла на лицо тонкий слой пудры. Затем, как это тысячи раз делали, по ее наблюдениям, другие танцовщицы, она подкрасила губы, в последний раз оглядела себя в зеркальце и защелкнула пудреницу.

Лизель была рада, что офис Лео Штейна находится на Лексингтон-авеню, а не на Бродвее, как у большинства других антрепренеров. Это означало, что добираться сюда от ее работы в швейной мастерской возле Театрального квартала[4 - Театральный квартал – квартал в центральной части Манхэттена, где сосредоточены крупнейшие бродвейские театры, а также другие театры, кинотеатры, рестораны, отели и прочие развлекательные учреждения.] нужно было на пригородном поезде до Сорок второй улицы. Но этот маршрут она любила, потому что он позволял ей проходить мимо единственной во всем Нью-Йорке кондитерской палатки, где готовили яблочный штрудель в точности так, как это делала раньше ее мама. Если бы у нее было несколько лишних минут, она бы прогулялась в сторону центрального вестибюля вокзала и насладилась выпечкой под позолоченным изображением знаков зодиака – талантливо нарисованных созвездий, сияющих в море синевы.

Лизель любила бескрайность главного зала с его соборной роскошью и то, как свет проникал сквозь арочные окна над восточным входом и озарял пассажиров мягким отблеском сепии, как на старых фотографиях. В этом месте, среди толпы, она могла чувствовать себя одновременно в одиночестве и в безопасности. И, что больше всего будоражило ее, именно здесь она могла представить себе случайную встречу или возможное воссоединение с семьей, которую она до сих пор отказывалась считать потерянной.

Трудно поверить, что прошло уже пять лет, как она в последний раз виделась со своими родными, и что после последнего полученного письма от них не было ни единой весточки.

- Время пролетит быстро, - обещала мама, собирая ее в Америку.

Сказанное мамой оказалось правдой. Время прошло быстрее, чем она могла себе представить, но она сама очень старалась. Лизель сделала все, чтобы занять себя, насколько это возможно. Она не хотела, чтобы у нее оставалось время задуматься, потому что во время этих пауз было сложно избавиться от мыслей об ужасных испытаниях, выпавших на долю ее семьи.

Еще в Центральном вокзале она любила то, что каждый здесь бежал по своим делам с ощущением неотложности своей поездки. Этому способствовали расположенные на каждом углу часы: часы в медном обрамлении, закрепленные на мраморных стенах; самые знаменитые - в центре главного вестибюля; часы, подвешенные под потолком, - внизу, у железнодорожных путей. Некоторые были украшены в стиле модерн, другие выглядели, как увеличенный циферблат наручных часов. Но, независимо от стилистики, все эти часы создавали ощущение, что нужно идти, поторапливаться, и Лизель это нравилось. Это позволяло ей сосредоточиться на своих обязательствах. Когда она не танцевала, она шила. Когда не шила, то танцевала: как на уроках танцев, так и на представлениях в ночных клубах, помогающих ей оплачивать счета.

Она и представить себе не могла, что когда-нибудь сможет танцами зарабатывать достаточно денег для жизни, но Лео Штейн изменил ее мнение. И она всегда будет ему благодарна за то, что он принял ее на работу в качестве одной из своих танцовщиц.

Его агентство располагалось на третьем этаже изящного серого особняка, разгороженного на небольшие офисы. Подойдя, Лизель позвонила в дверной звонок и поднялась по узкой лестнице. Она почувствовала запах его сигары уже на первой лестничной площадке.

«Лео Штейн, импресарио» было выгравировано на темной деревянной двери. Она вошла, не постучав.

– Привет, моя sheyna meydel![5 - Красавица (идиш).] – воскликнул он. – Какая улада для уставших глаз.

Она уселась напротив его стола, сложив руки на зеленые шелковые складки платья, которое она сшила сама неделю назад.

– Итак, с сегодняшнего дня и до второй половины дня пятницы репетиции будут проходить на этой стороне города, в студии Розенталя. Наконец-то не на Бродвее...

Она кивнула. Она ценила то, что Лео не только относился к ней по-доброму и никогда не перегружал ее, но и, давая ей работу, учитывал другие ее обязательства. Поэтому он организовал ей работу в ночных клубах с пятницы по воскресенье, что означало, что, помимо репетиций хореографии для этих выступлений в выходные, она могла спокойно заниматься и всем остальным: шить для своего босса, Герты, а еще и посещать уроки танцев, от которых она не хотела отказываться, хоть они и не приносили ей пока еще прибыли. Просто так она все время была занята, а именно этого Лизель и желала.

Лео передал ей расписание репетиций.

– Спроси меня попозже на этой неделе, когда поедешь к Розенталю. Думаю, у меня кое-что появится в «Краун Клуб» на следующую неделю, но пока не подтвердили.

Она улыбнулась.

– Ну, вы же знаете, я всегда готова, когда нужно, мистер Штейн.

Лео полез в ящик своего письменного стола.

– Тебя не остановить, да? Ты самая трудолюбивая девушка из всех, кого я знаю. Подумать только, какую бы комиссию я на тебе заработал, если бы ты захотела заниматься этим полный рабочий день!

– Я не хочу нарушать обещание, которое дала Герте. – Она улыбнулась и захлопала глазками: не из жеманства, а потому что ей нравилось быть с ним особенно милой. – И еще я не могу разочаровать своего учителя, Псоту.

Лео кивнул. Он отлично знал, что именно ее учитель, Иван Псота, вытащил ее в свое время из Чехословакии.

– Да, да. Знаю, скольким ты ему обязана. Поэтому я и не давлю на тебя, как с другими девушками.

– Я очень благодарна вам, мистер Штейн.

– Скажи спасибо, что ты похожа на мою дочь. – Он качнул головой, положил сигару в пепельницу и протянул руку к ящику стола. – Свою комиссию я взял, а все остальное тебе, дорогая.

Она бросила взгляд на написанные цифры и раскатистую роспись Лео внизу. Двадцать пять долларов. Достаточно, чтобы оплатить комнату и питание, и еще немного отложить на случай, если Красный Крест когда-нибудь сможет определить местоположение ее семьи и у нее появится возможность привезти их.

Лео взглянул на часы.

– Итак, студия Розенталя. Это на пересечении Тридцать восьмой и Лексингтон. Тебе лучше поторопиться. Ты там должна быть к двум.

У Лизель оставалось двадцать минут.

– Спасибо, мистер Штейн. – Она произнесла слова осторожно и почтительно, стараясь говорить так, чтобы он смог услышать в ее голосе благодарность.

Лизель знала, что в ее жизни есть многое, за что она должна быть благодарна. И среди прочего – ее учитель по танцам Иван Псота.

Когда она пошла в школу, клиенты ее мамы стали все чаще замечать, что Лизель родилась с физическими данными танцовщицы. Дело было не только в ее худобе, ведь худыми можно было назвать большинство девочек ее возраста. Естественную грацию ей придавали длина и стройность ее конечностей – именно это выделяло ее среди ровесников.

Ее мама шила костюмы для престижной танцевальной академии города на протяжении десятка лет, и Лизель большую часть своего детства наблюдала, как та примеряла на девочек корсеты и балетные пачки. У ее мамы был особый шкаф в дальней части квартиры, где она хранила свои корзинки с бусами и ярды тюля. И хоть мама Лизель стала обучать ее шитью с того момента, как та научилась держать в руках нитку с иглой, она мечтала о том, что ее дочь будет срывать аплодисменты, возможно даже путешествовать с труппой, а не шить за кулисами костюмы для сцены.

Мама привела ее на прослушивание в консерваторию сразу же, как только Лизель стала достаточно взрослой для этого. Образ знаменитого школьного балетмейстера, Ивана Псоты, было трудно забыть. У него были темные волосы и широкая голливудская улыбка. Он изящно двигался по деревянной сцене в черных туфлях на идеально изогнутых стопах и в элегантных костюмах.

Девочки на несколько лет старше Лизель заливались в его присутствии краской. Они знали, что этот мужчина считался одним из лучших танцоров в их стране, и в последнее время он стал оттачивать мастерство хореографа. И все же он увидел что-то самобытное в юной Лизель, тем самым обеспечив ей на следующий год поступление в танцевальную консерваторию.

Мама Лизель, обеспокоенная, что интенсивная программа в танцевальной школе высосет из ее дочери все соки, старалась, чтобы на столе всегда стояла любимая еда дочери. Каждый день, перед выходом в консерваторию, Лизель на столе ждал свежее испеченный яблочный штрудель и стакан молока.

– Не забудь покушать перед танцами, – напоминала мама.

Но Лизель не нужно было напоминать. Заметив мамину выпечку, она тут же усаживалась за стол с салфеткой в руке.

Следующие пять лет Лизель обучалась танцам под руководством маэстро Псоты. Придя в консерваторию десятью годами ранее, в возрасте двадцати, он привнес в нее элемент блеска и престижа. Лизель была ему признательна не только за то, что он обучал ее танцу, но и за что-то гораздо более важное. И она знала, что никогда не сможет отплатить ему за это.

Псота помог спасти ее.

С самого начала репетиций Псота проявлял к Лизель особый интерес. Он отметил идеальную постановку ее стопы, естественную легкость поступи и, что было гораздо необычнее в столь юном возрасте, ее быстрый ум, который запоминал все детали его хореографии. Он был уверен, что если она продолжит усердно заниматься, то в один прекрасный день она сможет прийти до кордебалета.

Но весной 1939 года, когда семнадцатилетняя Лизель находилась на пике своих возможностей, в Чехословакию вошел Гитлер.

– Я не могу больше держать тебя в консерватории, – сказал Псота Лизель, вызвав к себе в кабинет. – Ты знаешь, я бы все сделал, чтобы оставить тебя здесь... – Он сглотнул; его обычно яркие и живые глаза выглядели серыми и безжизненными, как гипс. – Но теперь это закон. – Он указал пальцем на приказ на столе. – Мне приказали выгнать всех моих учеников-евреев.

Лизель сидела в кабинете Псоты. На столе лежала фотография Ивана, окруженного одной из его танцевальных трупп. Девочки в черных балетных купальниках выглядели сильными, спортивными, непобедимыми. Она впиалась пальцами в ладонь, думая, что боль не позволит ей расплакаться перед учителем.

– Лизель, как бы я хотел изменить это... но я не могу.

– Я знаю, мистер Псота... – с трудом прошептала она.

– Но я не дам Гитлеру победить. Ты будешь танцевать. Я серьезно. – Он выпрямился на стуле. – Я попросил одного человека – я познакомился с ним в Монте-Карло прошлым летом – помочь тебе. Это очень богатый и влиятельный человек. У него большие связи в правительстве Соединенных Штатов, и я написал ему навести справки, как можно тебе получить визу.

– Я не понимаю. Зачем ему помогать мне или моей семье?

– Его зовут Карл Леммле, и он еврей, родившийся в Германии... Он основал в Калифорнии компанию под названием «Юниверсал Пикчерз».

Имя и название ни о чем Лизель не говорили, но по голосу Псоты она поняла, что это нечто впечатляющее.

– Он уже помог многим еврейским семьям в своем родном городе в Германии и других местах Европы. Многие люди прямо сейчас едут в Америку. Я написал ему лично, чтобы попросить его еще и устроить тебя. Я сказал ему не только то, что ты танцуешь, но и то, что ты – прекрасная швея и научилась у своей матери, как шить костюмы. У него большие связи в Калифорнии и Нью-Йорке, так что, когда ты туда приедешь, работа тебе найдется.

У Лизель встал ком в горле. Она не могла поверить, что ее учитель зайдет настолько далеко, что вывезет ее из страны, которой теперь, совершенно очевидно, не нужна была ни она, ни ее семья.

Так много соседей перестало с ними разговаривать. Как только магазинчик ее отца закрыли в соответствии с новыми антиеврейскими законами, большинство людей стали их сторониться.

Но ее вдруг охватил внезапный страх, ведь Псота упомянул про работу в Америке только для нее.

– А мои родители? – спросила она еле слышно. – Он и их устроит?

Он отвел глаза и уставился на длинные застекленные двери своего кабинета. На столе Псоты она заметила другую фотографию – там он, примерно в ее нынешнем возрасте, стоял со своими родителями.

– Нет, – тихо проговорил он. – Устроит он только тебя... Мне очень жаль.

Она собралась было произнести то, что вертелось у нее на языке, но он опередил ее:

– Лизель, я уже поговорил с твоими родителями. Если честно, я обсудил это с ними еще даже до того, как написал мистеру Леммле. – Он на секунду замолчал, снова отведя взгляд и опустив глаза вниз. – Они понимают, что здесь происходит. Они хотят, чтобы ты воспользовалась этой возможностью. Хотят, чтобы ты поехала. В Америку.

К июню у Лизель уже имелись заверенное поручительство спонсора и виза. Согласно инструкциям мистера Леммле, она должна была направиться в Антверпен, а оттуда – сесть на корабль до Нью-Йорка. В тот день, когда она прощалась с родителями на железнодорожной станции в Брно, мама засунула руку в корзину, которую несла с собой, и вытащила оттуда сверток.

– Что это? – спросила Лизель, борясь со слезами. Впервые в жизни Лизель ощущала тяжесть в ногах, словно кто-то налил ей в подошвы цемента. Она хотела вцепиться в землю и сказать родителям, что она не может покинуть их.

– Я сделала твой любимый... – проговорила мама. На ее глазах навернулись слезы. – Яблочный штрудель...

Лизель взяла сверток, ощущая, как сквозь ткань просачивается теплый сок фруктов.

– Теперь я могу вообразить, что ты просто поехала куда-то танцевать, – произнесла мама, с трудом улыбнувшись.

Лизель почувствовала, насколько хрупок батон штруделя в ее руках.

– Я боюсь, он разломается прежде, чем я его съем.

– Ничего страшного, что он разломается на части, милая. Даже если он весь раскрошится, все составляющие останутся на месте.

Мама сжала руки Лизель.

– Так же, как папина и моя любовь к тебе.

Лизель прибыла в Нью-Йорк, не зная ни единого слова по-английски. Но она знала немного немецкий, что ей и помогло, так как мистер Леммле устроил ее на работу швеей к немецкому еврею, владеющему ателье по пошиву костюмов в Театральном квартале. Что касается уроков танцев, Псота проследил за тем, чтобы она могла обучаться по вечерам с бывшей танцовщицей из Кирова мадам Поляковой на Верхнем Вест-Сайде.

Но каждый вечер, как бы она ни уставала после работы или танцев, Лизель лежала без сна, переживая за свою семью, оставшуюся там, в Чехословакии. Она писала бесчисленные, все более отчаянные письма своим родителям в Брно, но с момента своего прибытия в Нью-Йорк от них она получила только одно. Это письмо, теперь святое для нее, она хранила аккуратно сложенным в маленькой шкатулке в ящике комода.

«Наша дорогая Лизель.

Пишу эти строки и представляю тебя: твои яркие глаза, твою радостную улыбку, твой балетный купальник и танцевальные туфли где-то рядом. Вот что делают матери, чтобы согреть себе душу. Мы виделись с маэстро Псотой, и он рассказал нам, что мистер Леммле выполнил свои обещания в отношении тебя. Что ты работаешь и все еще учишься танцам. Мы с папой несказанно рады, что твоя жизнь в Америке не стоит на месте.

Мы получили твое первое письмо и не хотим, чтобы ты так сильно за нас беспокоилась. Псота проследил, чтобы у меня были заказы. У него есть танцоры,

которые навещают меня перед комендантским часом, двое из них ходят каждую неделю, чтобы не вызывать подозрений, это помогает иметь дополнительный доход. Френни и Томас Кон предпочли переехать в местечко неподалеку от Праги под названием Терезин. Они говорят, там нам будет безопаснее, чем в городе. Папа еще не решил, поедет ли и мы туда. Сколько еще мы сможем выбирать, прежде чем они выберут за нас, я не знаю. Но, пожалуйста, перестань волноваться за нас, *milasku*[б - Милая (чеш.)]. Нам гораздо легче, когда мы знаем, что где-то там, за океаном, ты улыбаешься. Молюсь о нашей скорой встрече.

С любовью,

мама и папа»

Она столько раз перечитывала это письмо, что бумага уже чуть не рвалась на сгибах. Из-за того, что Лизель могла взять с собой только небольшой чемодан, у нее было так мало осязаемых вещей, связывающих ее с жизнью своей семьи в Брно: два платья, сшитых для нее мамой; небольшой кожаный альбом с фотографиями, запечатлевшими разрозненные воспоминания об их семейном отдыхе в моравийской деревушке, и пластинка, которую Псота принес ей вечером накануне отъезда и которую она аккуратно положила в одежду в чемодане.

В тот, последний, вечер, когда мама старалась приготовить что-нибудь из оставшегося продовольствия, Псота пришел к ним попрощаться.

Когда Лизель открыла дверь, он стоял в своем элегантном костюме. В одной руке он держал букет цветов для ее мамы, а в другой – пластинку, которую и вручил ей.

– Это прощальный подарок, – сказал он ей. – «Из Нового Света» Дворжака[7 - Чешский композитор, представитель романтизма.]

Она ее прекрасно знала. Это была любимая мелодия учеников-музыкантов, деливших с танцорами часть здания, и Лизель несколько раз слышала, как она сочится сквозь стены репетиционных залов. Композитор, чех по национальности, написал ее, проживая в Нью-Йорке и дирижируя Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Симфонию наполняли мелодии, навеянные индейской музыкой и афроамериканскими спиричуэлс, которые Дворжак слышал

в Америке. Вторая часть была особенно красивой; один из мальчиков в консерватории как-то раз после репетиций пытался произвести на Лизель впечатление, сообщив ей, что эта симфония вдохновила другого американского композитора создать песню под названием «Возвращение домой».

– Самый подходящий подарок, – проговорила она, улыбнувшись и поцеловав его в щеку. – Спасибо вам огромное. Я буду его беречь.

Тем вечером, после того как они поужинали простыми картофельными кнедликами, приготовленными ее мамой, папа взял пластинку, подаренную Лизель, и поставил ее на патефон.

Была в этой музыке некая многослойность, подходившая к этому вечеру. В ней Лизель слышала тоску по родине, тесно переплетенную с лучом надежды.

– Дворжак написал ее, когда жил в Америке, Лизель, – произнес Псота.

– Я знаю, – тихо промолвила она.

– Я подумывал о том, чтобы поставить балет на эту музыку...

Его голос стал мечтательным. Она видела, как он закрыл глаза, словно бы рисуя у себя в голове эту постановку. А позже они все стали напевать мотив из второй части.

В тот вечер, казалось, все с радостью восприняли уют, созданный музыкой. Она заполнила паузы, которые не получалось заполнить словами. И позже, в Нью-Йорке, когда Лизель не могла заснуть, преследуемая страхом за свою семью, она думала о прекрасных звуках струнных инструментов и альтового гобоя во второй части и представляла их, как невидимую нить, связывающую ее сердце с ее семьей.

Лизель проживала в маленькой квартире вместе с другой девушкой, которой мистер Леммле тоже помог выбраться из Европы. Квартира была обставлена скудно: две кровати, кухонный стол и стулья. Но, проработав год в ателье Герты Кляйнфельд, Лизель заработала достаточно денег, чтобы купить в комиссионном магазине подержанный патефон, не чувствуя при этом вины за

то, что он проглотил слишком много из тех денег, которые она копила на проезд своей семьи в Америку.

В те вечера, когда боль от расставания с семьей была невыносима, она ставила запись Дворжака от своего учителя и представляла, что все они снова там, в гостиной, и она в любую секунду может коснуться мягких рук своих родителей.

Но с наступлением утра ее захватывали дела, и некогда было предаваться меланхолии. Она часами прострачивала окантовки, ушивала бюстье и добавляла украшения на костюмы женщин, выступающих в ночных клубах. Это была основа бизнеса Герты. А закончив работу у Герты около часа дня, девушка старалась попасть на балетные репетиции в танцевальную студию мадам Поляковой, оплачивая их из своей зарплаты.

Лизель была благодарна матери за умение, которое позволяло оплачивать счета. В ателье Герты хористки со своими тщательно продуманными прическами и макияжем, белоснежными улыбками и идеальными локонами стояли перед зеркалом, пока Лизель подгоняла одежду, чтобы она подчеркивала их фигуры. У себя на родине, в консерватории, она танцевала в одних только балетных купальниках и трико со стянутыми в хвостик волосами. Но в стенах многолюдного и шумного швейного цеха Лизель училась искусству преображения. Мама обучала ее, как делать корсеты, как применять китовый ус, но здесь, в Нью-Йорке, она узнала о том, как утягивающие корсеты и другие средства могут преобразить даже невзрачную девушку в богиню.

В течение следующих нескольких месяцев она начала налаживать близкие взаимоотношения с танцовщицами, которых отправляли к Герте на примерку. Девушкам нравилось, как легко Лизель орудовала иглой с ниткой и как хорошо она, годами занимаясь классическими танцами, знала, как двигается тело во время представления. Она знала, как важно, чтобы костюмы не только подчеркивали достоинства их тел, но и поддерживали их во время танца.

– Поднимите руки вверх, – говорила она им на ломаном английском. – Выгните спину...

Она давала им подсказки, тем самым облегчая себе работу над изменением костюмов, чтобы те не сползали и не рвались, когда девушки тянутся и двигаются по сцене. Она понимала: ничто так не отвлекает танцора, как

ощущение, что платье вот-вот разойдется по швам.

Примерно через год после приезда Лизель одна из девушек по имени Виктория завела с ней разговор.

– Ты всегда так изящно передвигаешься, – сказала она Лизель. – Ты двигаешься, как танцор...

Лизель улыбнулась.

– Я и танцую. Но только балет.

Она вытащила булавку из подушечки и продела ее в подол юбки Виктории.

– Я так и знала! – рассмеялась Виктория. – Я же видела, как ты ходишь по цеху. Плечи назад, шея вытянута...

Лизель засмеялась.

– Плюс у тебя отличные ноги. – Она осмотрела Лизель сверху донизу. – Черт, знаешь, ты с нами должна танцевать, а не тут просиживать!

Лизель наклонилась, чтобы взять еще булавок для костюма Виктории. Она стояла возле зеркала во весь рост и пыталась подогнать корсет под узкую грудь Виктории.

– У меня нет сценического опыта, – проговорила Лизель. – Только то, чему я обучалась там, в Европе, и занятия, которые я посещаю после работы. Так что мне еще повезло, что у меня есть эта работа...

– Не говори глупостей, – ответила Виктория. – Я уверена, немного макияжа, немного работы, и ты будешь просто невероятна на сцене. У тебя идеальная осанка, а танцы на самом деле несложные. Мы просто добавляем красоты на заднем плане для того, кто поет по вечерам. Это совсем не трудно, особенно в сравнении с балетом...

– Но мой английский...

– Да тебе и говорить-то не нужно! Просто понимать указания...

Виктория начала двигать руками.

– Осторожно, – произнесла Лизель, немного удивленная предположением, что она может быть танцовщицей в Нью-Йорке. – Ты же можешь поцарапаться об иголки.

В тот же день, когда Лизель удостоверилась, что костюм сидит как влитой, Виктория протянула ей визитную карточку Лео Штейна.

– Сходи к нему, – настаивала она. – Ты такая же танцовщица, как и я, когда начинала. Нельзя такое тело запереть в швейном цеху на весь день. Скажи ему, что тебя рекомендовала Виктория Криган. Это всего в трех кварталах отсюда. Загляни к нему во время обеденного перерыва.

С того дня, как она начала танцевать в ночных клубах, минуло почти три года. Деньги, отложенные с заработной платы и шитья, которые она надеялась потратить на то, чтобы вывезти родителей, оставались нетронутыми. Но из Европы теперь поступали ужасающие новости, распространялись слухи о концентрационных лагерях и о еврейских семьях, задержанных и отправленных в Польшу.

Почти весь день она провела с натянутой улыбкой, заставляя себя воспринимать смех и музыку вокруг. Но когда макияж был смыт, а расшитый блесками танцевальный костюм снят, черно-белые фотографии продолжали преследовать ее, и она уже никак не могла отмахнуться от этого наваждения.

В такие моменты, лежа в одиночестве на постели с одолженным учебником по английскому на коленях, она видела, как ее мама прощается с ней с грустной улыбкой, а папа держит ее сумку чуть дольше, чем нужно. Она не хотела смотреть на ужасные фотографии в газете и верить в то, что ее родители могли оказаться среди этих груд тел или превратиться в темный пепел. Лучше она будет любоваться семейной фотографией на своей прикроватной тумбочке и верить в то, что ее родители там, где она их оставила. Отец в темно-

коричневом пальто и щегольской фетровой шляпе, а мама всегда с чем-нибудь теплым и сладким в руках.

Два дня Григорий разыскивал в толпе девушку в похожем на тюльпан зеленом платье. Он разглядывал процессию темных костюмов и белых рубашек, женщин в осенних костюмах с фетровыми шляпками и лайковыми перчатками. Он прислушивался к каждой поступи и делал паузы между композициями, чтобы изучить лица стоящих в очереди за кондитерскими изделиями Мюррея.

В течение дня Григорий видел несколько сотен пассажиров, проходящих мимо. Некоторые ненадолго останавливались, чтобы послушать его игру, многие из них бросали мелочь в обитый бархатом футляр в знак благодарности. Но он все никак не мог выбросить из головы образ девушки с легкой походкой танцовщицы и по-старомодному прекрасным лицом.

А затем, в следующий вторник, во втором часу дня, он снова увидел ее. Это определенно была она. Ее лицо, которое невозможно было перепутать ни с чьим другим. Ее ноги. Эта улыбка. И поступь, легкая, как ветерок.

В этот раз он понимал, что должен быстрее взяться за смычок и начать играть. Она не отреагировала на Моцарта, так что он быстро вычеркнул Австрию из своего мысленного листа предполагаемых вариантов ее родины. Следующим очевидным выбором стала Германия. Это давало Григорию три варианта на букву «Б»: Бах, Брамс или Бетховен. Концерты для скрипки как Брамса, так и Бетховена позволили бы ему впечатлить девушку своим талантом, но он также мог сыграть и «Оду к радости» из Девятой симфонии Бетховена и завести всю толпу. Возможно, интерес публики смог бы привлечь ее, и она подошла бы поближе.

Начав играть, он тут же увидел, как она изящно обернулась. Грациозно качнулись каблуки; держа пакет из воощеной бумаги в руках, она отвернулась от лавочки Мюррея, похожая на миниатюрную балерину в музыкальной шкатулке, которую он однажды видел в антикварном магазине недалеко от своей квартиры. Крутящаяся фарфоровая девушка не выше пальца в тюлевой юбке размером с почтовую марку.

Он увидел, как она посмотрела в его направлении, но она не остановилась, как он надеялся. И все же он был уверен: что-то в его игре привлекло ее. Он видел, как она обернулась – это был жест удовольствия и инстинктивная реакция на музыку, исходящую от его смычка. Все гораздо лучше, чем в прошлый раз, убеждал он себя, стараясь не поддаваться сомнениям. В этот раз по пути к дверям она повернула голову и бросила на него мимолетный взгляд. Ее улыбка пронзила его сердце – он получил награду, с которой не могли сравниться все монеты мира.

Направляясь к офису мистера Штейна, Лизель ощущала прилив энергии, который совершенно не был связан с бьющим в глаза солнечным светом или с тем, что ей должны были выдать очередной зарплатный чек. Почему-то музыка, которую она только что услышала на Центральном вокзале, заставила ее почувствовать себя счастливой, живой.

Она уже много лет не слышала «Оду к радости», и эта зажигательная мелодия воодушевила ее. Она пыталась припомнить, что он играл в прошлый раз. Может, «Маленькая ночная серенада»? Она вспомнила, что бесчисленное количество раз слышала, как эта музыка раздавалась по вечерам из кафе в Брно. Скрипач играл очаровательно. Она слышала многих уличных музыкантов с тех пор, как прибыла в Нью-Йорк, но большинство из них предпочитали работы современных композиторов вроде Гершвина или Дюка Эллингтона – возможно, они считали, что эти произведения сподвигнут людей опустошить карманы. Но этот мужчина, по всей видимости, предпочитал музыку, напоминающую ей о Европе.

По пути она продолжала проигрывать в голове мелодию Бетховена. Она думала о своей прошлой жизни в Брно, о днях, проведенных в танцевальной консерватории, где ученики музыкального отделения часто пытались привлечь внимание наиболее красивых танцовщиц, играя на своих инструментах со всей страстью.

Те годы в памяти Лизель были самыми милыми ее сердцу. Временем, когда она не только начинала возвращать в себе любовь к музыке, но и когда она думала, что так будет продолжаться вечно. Жизнь, наполненная культурой и искусством, друзьями и семьей.

В последний год с маэстро Псотой, когда он ставил «Славянские танцы» Дворжака, она наблюдала высшую точку его творческих способностей. Он часами занимался с ней и еще пятью девушками из его аспирантуры, отрабатывая многосложные перемещения. Но даже при том, что дверь в его студию была закрыта, прекрасная музыка камерного оркестра проникала в каждый уголок заведения.

Лизель удивлялась тому, насколько сильно она ждала теперь репетиций в танцевальной студии Розенталя. Из-за них у нее появилась возможность несколько последующих дней покупать кондитерские изделия Мюррея и вновь услаждать слух игрой красивого скрипача, который, казалось, играл только для нее.

В четверг днем, после целого утра, проведенного за шитьем у Герты, она поднялась из метро по ступенькам на Центральный вокзал к выходу на Лексингтон-авеню и уже слышала, как он играет за углом. Она решила, что он исполняет концерт для скрипки – может, Мендельсона, – но не была до конца уверена. Но одно она знала наверняка: как только она услышала звуки музыки, ее тело стало реагировать на нее. Ноты как будто превратились в маленькие шестеренки внутри ее тела. Она ощущала, как в ней просыпается желание размять конечности, потянуть стопы. Она представляла, что танцует на своей собственной сцене, а этот незнакомый ей мужчина аккомпанирует.

Очередь к тележке Мюррея оказалась короче, чем обычно. Проходя мимо безымянного музыканта, она повернулась и улыбнулась ему. Она заметила, как его глаза оторвались от инструмента, и его губы растянулись в ответной улыбке.

– Следующий! – раздался резкий голос Мюррея из-за прилавка. – Что будешь, куколка? Яблочный штрудель, как обычно?

– Да, – пробормотала она, краснея. – Но я обязана как-нибудь попробовать ваши пончики.

– Ты больше похожа на любительницу штруделей, – сказал он, улыбаясь, и протянул ей бумажный пакет.

Он повернулся к следующему клиенту, а она посмотрела на настенные часы прямо над входом, ведущим вниз, в Вандербильт-холл.

У нее оставалось меньше времени, чем она думала. Не больше десяти минут, чтобы успеть на репетицию к Розенталю вовремя.

Ускоряя шаг, она двинулась в сторону выхода с вокзала и вдруг услышала, как скрипач начал играть польского композитора Шопена. Выбор ей показался странным, ведь даже она знала, что это произведение звучит лучше в исполнении фортепиано, чем скрипки.

Ей не пришло в голову, что он играл ее лишь для того, чтобы увидеть, как она отреагирует. Увидеть, была ли она из Польши, как и он сам. Что он пытался найти хоть что-нибудь, напоминающее ей о родном доме, где бы тот ни находился.

Весь день у Лизель не выходил из головы скрипач, который всегда играл в одной и той же части вокзала и чей выбор музыкальных произведений начинал ее озадачивать. Она не смогла разглядеть его лица целиком, так как инструмент прикрывал его черты. Но Лизель определенно разглядела его глаза. Они следовали за ней как магнит. Даже сейчас она помнила этот выразительный взгляд.

Розенталь выкрикивал указания девушкам, чтобы они запоминали свои движения.

– Ты спускаешься по ступеням, переплетя руки с руками твоих партнеров... – раздавал он команды. – Не забывай улыбаться. Не забывай, что тебе нужно двигаться синхронно с остальными... Я хочу, чтобы все было безупречно... Девочки! – повысил он голос и уставился на одну из девушек, болтающих с другой танцовщицей. – У нас три дня, чтобы все было идеально. Так что сосредоточьтесь и за работу!

Лизель молча заучивала движения. Они для нее были элементарными, не идущими ни в какое сравнение с замысловатым произведением, созданным маэстро Псотой.

Она подняла глаза на часы и увидела, что уже почти четыре часа дня. Прежде чем направиться в Верхний Вест-Сайд к мадам Поляковой, она хотела спуститься к Центральному вокзалу и посмотреть, играет ли еще тот скрипач.

К половине четвертого Григорий уже закончил и двинулся на свою вечернюю работу в театре. Пробираясь через двери на Лексингтон-авеню, он все думал о музыке, которую он сегодня выбрал для этой девушки.

Хоть она и не подошла к нему, но, по крайней мере, взглянула в его сторону и улыбнулась. А это, стоило признать, было хорошим знаком.

Он знал, что полонез – плохой выбор. На скрипке он звучал ужасно, учитывая то, что Шопен написал его (как почти все, что он сочинил) для фортепиано. Но он решил, что, если бы она оказалась полькой, она была бы признательна за его робкие попытки сыграть что-нибудь с ее родины. Он голову себе сломал, пытаясь придумать, что бы еще такого ей сыграть в следующий раз, когда увидит ее.

В его репертуаре еще оставалось несколько произведений, навевающих мысли о разных странах, из которых она могла приехать. Произведений, которые могли заставить ее остановиться хотя бы на несколько минут.

Он представил себе, что, если бы мог это сделать, он бы сыграл это произведение до конца, как будто исполняя ей серенаду. И когда он отстранил бы смычок от скрипки, он смог по-настоящему заговорить с ней. А может, и пригласить ее на обед в кафе-автомат[8 - Ресторан быстрого питания, где готовая еда и напитки продаются через торговые автоматы.] поблизости.

Григорий представил карту Европы и принялся размышлять, какую страну выбрать в качестве ее потенциальной родины. С Россией было легко. Чайковский. Григорий любил показывать свои умения с помощью концерта для скрипки, но любовная тема из «Ромео и Джульетты» пробудила бы теплые чувства в любой девушке, в особенности русской вдали от дома. А вот если она была откуда-нибудь из Болгарии или Румынии, тогда у него могли возникнуть проблемы. В этих странах не было великих композиторов. Возможно, он мог спросить кого-нибудь из посетителей ресторана дяди подсказать ему народную песню оттуда. С Венгрией, как и с Польшей, могли возникнуть сложности.

Конечно, был Лист. Но он был пианистом, чьи лучшие произведения никогда полноценно не перекладывались для скрипки. Но если он снова попробует тот же метод после фиаско с Шопеном, не поймет ли она, что он играет не из-за денег, а просто пытается показать ей, что все это только ради нее?

Григорий надеялся, что увидит ее завтра и попробует еще раз. Он уже однажды заметил реакцию ее ног, а в последний раз он совершенно точно заработал ее улыбку. А еще его очень интересовало, куда она так спешила каждый день. У него в голове созрело несколько сценариев, но ни в одном она не оказывалась запертой в офисе с печатной машинкой и телефоном.

Пока Григорий шел домой, чтобы переодеться для вечерней работы в оркестре, Лизель решила еще раз спуститься в здание вокзала и посмотреть, не удастся ли ей послушать еще одно выступление скрипача. Но, войдя через двери входа с Лексингтон-авеню, она его не обнаружила. Напротив кондитерской тележки Мюррея зияло пустое место, похожее на незанятую сцену, состоящую из клеток блестящего светлого мрамора. Лизель удивилась, насколько сильно ее расстроило его отсутствие.

Перед ней чистильщик обуви, ссутулившись перед клиентом, чистил сверкающие туфли, вполне подходящие для пожилого банкира. Какая-то женщина тащила двух детей в направлении путей; сын мял в руках свою кепку.

Лизель смотрела на пустое место, в ее голове рассеянно крутились отвлеченные мысли. У нее оставалась недоделанная работа у Герты, в пятницу вечером должно было состояться представление, а в два часа дня во вторник назначена генеральная репетиция.

Лизель заметила, как стоявший за прилавком Мюррей поднял на нее глаза. На подносах почти ничего не осталось.

– Штрудели закончились, – улыбаясь, проговорил он. – Но осталось несколько пончиков.

Она проголодалась и понимала, что лучше съесть сэндвич или какую-нибудь более здоровую пищу. Но она все еще должна была попробовать один из его пончиков.

– Две сладости в день? – Она рассмеялась, подходя ближе к прилавку. – Моя талия может этого не пережить.

– Шутишь? – Он достал один пончик и положил его в бумажный пакет. Лизель вынула из кошелька десятицентовик.

– За мой счет, милая... Подсласти себе немного денек истинно американским вкусом.

На следующий день в обед она вышла от Герты и двинулась на Таймс-сквер, чтобы сесть на поезд до Центрального вокзала. Ей нужно было забрать очередной чек у мистера Штейна, а затем ехать к Розенталю на генеральную репетицию.

В руках она держала контракт на это мероприятие.

«Даты выступлений: 21–24 сентября 1945 года.

Время начала: прибыть в театр не позднее 5 вечера.

Время начала выступления: 7 вечера.

Оплата: 10 долларов за каждое выступление».

Она свернула бумагу и спрятала в ридикюль. В сумку она упаковала черные туфли на завязках, утягивающий корсет и две пары носков на случай, если одна порвется.

– Снова на танцы? – спросила Герта, когда она собиралась выходить.

– Да. Все костюмы с прикрепленными именами девушек я оставила на полках. Все как положено.

– Как и всегда у тебя, *meine liebe*[9 - Моя любимая (нем.)], – сказала она по-немецки, – милочка.

– До понедельника, – попрощалась Лизель и открыла дверь.

– Если только я вдруг не решу посмотреть твое выступление, – улыбнулась Герта и оторвала свой взгляд от швейного стола. – В одну из дат точно приду!

Снаружи гудели такси, на мостовой обнималась парочка. Направляясь в сторону станции метро, чтобы доехать до Центрального вокзала, она чувствовала, как она постепенно уходила от работы у Герты. Шея вытянулась, спина выпрямилась, ноги вернулись к жизни: как будто в одно мгновение портниха обернулась балериной.

После вчерашнего выступления Григорий чувствовал усталость. Но после чашки крепкого кофе с булочкой из гастронома, расположенного под его квартирой, он все равно приехал на Центральный вокзал и принялся настраивать скрипку.

Стоял жаркий и пасмурный день. В пиджаке было слишком душно, поэтому он аккуратно его сложил и разместил у стены позади себя.

К одиннадцати Григорий был готов. Он начал с «Концерта ре мажор» Вивальди. Изначально он предназначался для лютни, но позже его переложили для скрипки. Все любили романтическое ларго. Оно что-то пробуждало в людях, и чаевые становились куда более щедрыми. Григорий задавался вопросом, существовало ли произведение, более подходящее в качестве серенады для девушки в похожем на тюльпан зеленом платье, хоть он и сомневался, что она итальянка.

В полдень, после небольшого перерыва на обед, как раз в тот момент, когда он решал, что играть дальше, краем глаза он заметил, как она поднимается по лестнице. Вокруг нее почти никого не было, поэтому он мог полностью сосредоточиться на ней. В своем серебристо-сером платье она походила на порхающего голубя, но с длинными ногами и руками вместо крыльев. Он мог поклясться, что она на секунду замерла и взглянула на него.

Она выглядела так, будто стоит на границе двух миров. Он поднял скрипку и положил ее под подбородок, еще раз бросив взгляд на прекрасную девушку в нежном платье.

Именно в этот момент в его голову пришла гениальная идея. Мелодия, которая, казалось, подходила ей совершенно – вторая часть «Из Нового Света» Дворжака.

Он прикрыл глаза и поднял смычок. Он будет играть это произведение так, словно оно в страстном порыве возникло из глубочайших тайников его сердца.

Музыка рождалась в его скрипке, словно вспышка чувств. Его тело раскачивалось, а голова склонялась из стороны в сторону. Музыка сочилась из каждой поры его души. Он знал, что играл ее и для себя, и для этой девушки – двум незнакомцам в Нью-Йорке, которые не стали американцами, но и беженцами уже не были. Лишь две души, обнаружившие, что застряли меж этих двух миров.

Лизель замерла, как только он заиграл мелодию Дворжака. Она с головой окунулась в воспоминание, как эта же самая музыка звучала там, в Брно.

Казалось, этот безымянный скрипач заглянул в ее душу и нашел ту самую мелодию, которая воплощала в себе все ее путешествие в Америку. Он играл с такой филигранностью, что даже не забыл о звуках альтового гобоя из оригинальной партитуры Дворжака. Его игра отбросила Лизель назад, к родителям, к учителю, в тепло гостиной, которую она покинула столько лет назад. Она ощущала не только ностальгию и тоску – в ней зародилось ощущение новых возможностей. Что-то в его игре заставляло Лизель верить, что он выбрал это произведение только лишь для того, чтобы добиться ее внимания.

Годами она изучала, как интерпретировать музыку, поэтому ее руки и ноги могли двигаться синхронно с музыкальным сопровождением. Теперь Лизель ощущала, что ее тянуло к скрипачу, он играл только для них двоих.

– Как вы узнали? – прошептала она, ловя его взгляд.

В его глазах она увидела не только тепло, но и подтверждение того, что эта музыка и для него имела особое значение.

Когда Лизель приблизилась к скрипачу, он опустил смычок и улыбнулся так, словно внезапно сошлись все звезды главного вестибюля. Со слезами на глазах она сделала последние шаги в направлении Григория и остановилась на краю его личной сцены. И, оказавшись перед ним, она поняла, что никогда от него не уйдет.

Везунчик

Дженна Блум

Моему папе

I

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ, НЬЮ-ЙОРК

Четверг, 20 сентября 1945 года

1

Стоял конец сентября, когда Питер увидел женщину, похожую на его мать: та сидела в «Ойстер Баре» возле одной из величественных архитектурных колонн, напоминавших ему об отеле «Адлон» в Берлине. Она ела то, что мама Питера никогда бы не положила в рот, потому что эта пища была не кошерной, – салат из креветок. Питеру он нравился, как и многое, что мама в детстве запрещала. Он забирал тарелку спутника этой женщины с остатками устричного рагу – стандартного блюда ресторана, – но вдруг замер и, держа лоток для грязной посуды на уровне пояса, уставился на нее. Несмотря на то что эта женщина поглощала моллюсков, она должна была быть еврейкой. Она, если использовать английское выражение, как две капли воды похожа на мать Питера. Темная с проседью коса вокруг головы. Розовое платье. Жемчуг. меховая накидка, хоть день был достаточно теплым, а воздух в «Ойстер Баре» – сырым. Нос женщины походил на острое лезвие ножа для отделения костей от мяса; ее кожа

с изящными складками напоминала персик за день до того, как он сгниет и с него слезет его брэнная плоть. На немецком это называлось «Doppelgänger», что означало «двойник», точная копия человека, и в литературе, как Питер помнил со времен университета, столкновение со своим Doppelgänger означало неминуемую смерть. Но что означала его слежка не за своей собственной копией, а за копией матери?

Женщина, почувствовав то ли взгляд Питера, то ли его затянувшееся пребывание возле стола, подняла глаза и взглянула на него, а Питер со все возрастающим страхом обнаружил, что у этой женщины даже глаза его матери, его собственные, глубоко посаженные, цвета морской волны глаза. Питер не сомневался, что она сейчас произнесет: «Ах, Петель, какие у тебя красивые волосы! Как они отросли», потом протянет руку, уберет локон с его лба и сообщит своему другу, дородному мужчине в очках с черной оправой: «Ты когда-нибудь видел такие золотистые локоны у мальчиков? Подарок от моей матери, и весь растратили на него. Ну не везунчик ли?», и в завершение вздохнет драматично и улыбнется Питеру с глубокой нежностью. Эта Doppelgänger, однако, ничего подобного не сделала. Ее лицо, поначалу выражавшее любопытство, теперь раздраженно напряглось. Она оглядела его с ног до головы и, казалось, была готова сказать ему что-нибудь резкое, когда ее блуждающий взгляд остановился на левом предплечье Питера. Питер и сам опустил глаза вниз, хотя, конечно же, знал, что там. Рукав белой рубашки, расстегнутый из-за жары на кухне, задрался, обнажив ряд маленьких, кривых зеленых цифр порядкового номера лагеря смерти.

Женщина быстро отвела взгляд от наколки, снова посмотрела на нее и затем взглянула в глаза Питера. Она выдавила болезненную улыбку и склонилась вперед, чтобы что-то сказать своему компаньону. Мертвая лисья морда на ее меховой накидке повисла в опасной близости от маленькой серебристой соусницы с соусом «Тысяча островов». В самый последний момент Питер убрал руку на стол и сдвинул лоток так, чтобы получше скрыть свой номер. Теперь женщина и ее компаньон вдвоем изучали его, стараясь делать вид, что не смотрят на него, в то время как их взгляды переключались с руки Питера на его тело, на лицо, на ноги в поисках видимых физических дефектов, полученных в лагере: возможно, отсутствующих зубов или сломанных и плохо вправленных костей, отрезанного уха, посиневших ногтей и торчащих от недоедания ребер.

Питер мысленно отрепетировал, что скажет дальше, поэтому произнес это на идеальном английском с едва ощутимым налетом немецкого. «Хотите сказать,

что этот мальчишка – еврей, разговаривающий как фриц? – спросил недавно один из друзей кузена Сола в загородном клубе. – Ну, это уже слишком!»

Питер потянулся за хлебницей с крошками и остатками масла.

– Могу я это убрать, мадам? – спросил он.

II

ЛАРЧМОНТ, НЬЮ-ЙОРК

Четверг, 20 сентября 1945 года

2

По окончании смены Питер сел на нью-хейвенскую линию до Ларчмонта. Он ехал в дом кузена Сола, в котором теперь жил. Особняк времен Тюдора очень сильно походил на дом детства Питера в богатом округе Берлина Шарлоттенбург, и Питеру казалось, что он во сне, где все знакомо и при этом все совершенно неправильно. Оба дома представляли собой большие деревянные здания с каменными основаниями. Оба дома окружали обширные ухоженные уголья. Но на этом сходство заканчивалось. Вид здесь открывался не на реку Шпрее и на Schlo? Charlottenburg[10 - Дворец Шарлоттенбург (нем.)], а на пролив Лонг-Айленд. И природа, окружающая дом Сола, тоже была другой – огромные валуны, испещренные блестящим веществом, которые садовник Сола называл слюдой. Экзотические растения были привезены из-за рубежа: бонсай и веерный клен, тропические кустарники с пышными розовыми кустами вместо ухоженного сада с фигурно постриженными кустами и расчищенными гравийными дорожками из детства Питера. Здесь даже имелся искусственный водопад, замысловато спускавшийся по темному, замшелому каменному руслу и в конце концов попадавший в овальный бассейн с дном, покрашенным в цвет морской волны, тогда как на угольях родителей Питера самым главным экспонатом был теннисный корт. Питер думал, что его жена Маша предпочла бы этот бассейн с намеками на Голливуд; она бы грелась возле него на солнце в купальнике в горошек и солнечных очках «кошачий глаз», пока девочки...

Взобравшись по каменным ступеням на террасу, он вытер лоб рукавом – день был жаркий и душный, наполненный жужжащими насекомыми, – и достал ключ, который дала ему жена Сола, Эстер, чтобы он мог попасть на кухню дома в Ларчмонте.

В доме должно было быть прохладно, так как температура внутри понижалась с помощью гроыхающих ящиков возле окон, которые, как сказали Питеру, назывались «кондиционерами», но, войдя в кухню, он обнаружил, что все застилает пар со слабым запахом вареных овощей. Горничная, Инес, стояла у раковины, стараясь разделать большого луфаря, пойманного кузеном Солом в прошлые выходные в проливе Лонг-Айленд, пока Эстер лущила кукурузные початки в мусорное ведро, которое она поставила посередине комнаты, на испанскую черепицу. На кухонном столе в ожидании своей очереди на мойку и чистку лежали дары из сада Эстер: огурцы, баклажаны и цукини размером и охватом с руку Питера. Питер никогда не видел таких огромных овощей, пока не приехал в Америку, и они его пугали. «Разве их размер не уменьшает их вкус?» – как-то спросил он Эстер, впервые встретив ее, когда она поднималась по садовой дорожке в своей соломенной панаме с корзиной помидоров размером с голову младенца. Эстер рассмеялась, обнажив свои красивые, здоровые белые зубы. «Вовсе нет, – ответила она. – У нас в стране мы именно так и любим. В Америке чем больше, тем лучше».

Она позволила Питеру помочь садовнику дотащить до дома огромную тыкву, но обиделась на его предложение приготовить из этих продуктов аппетитные блюда, раз уж он – квалифицированный повар. Может, Эстер не слишком походила на мать Питера, Риву, по телосложению и поведению, но в двух других аспектах она все же была на нее похожа: леди, вышедшая замуж за развязного господина, которая ни за что бы не позволила какому-нибудь мужчине работать на ее кухне. Питер не особенно удивился, когда обнаружил, что мнение о его невыдающейся профессии последовало за ним через океан; отец Питера Авраам относился к ней точно так же. Для Авраама самым большим разочарованием стало то, что его сын не пошел по его стопам в правовую практику, хотя, когда нацисты выгнали его и других евреев из университета в 1939 году, именно право Питер и изучал. Питер был настолько благодарен своим гонителям за вмешательство в его обучение, настолько опьянен неожиданной свободой, что в этот раз не стал ждать, пока Авраам найдет для него другое место; вместо этого он принял предложение своего друга-гоя пойти работать в отель «Адлон» в качестве помощника шеф-повара. В тот момент и размышлять было не о чем – Питеру повезло, что он вообще нашел хоть какую-то работу, хоть и было обидно, что единственный сын одного из самых видных семейств скатился до поваренка.

Даже Аврааму пришлось это принять. Именно в «Адлоне» Питер открыл в себе неожиданную любовь и способности к кулинарии. Приходя домой, он усердно изображал на своем лице печаль, но внутри он торжествовал; до начала войны он втайне наивно думал, что приход нацистов к власти – это лучшее, что с ним когда-либо случилось.

Теперь же Питер отвернулся от Инес, разделяющей луфаря, несмотря на то что у него чесались руки отнять у нее рыбу; он уже раньше, во время завтрака в комнате со стеклянными стенами, которую кузен Сол и Эстер называли верандой, усвоил, что в этом доме не стоит предлагать свои кулинарные решения. Стоило только Питеру как-то раз робко заметить, что он может показать горничной, как чистить рыбу, чтобы чешуйки потом не встречались в хлебе, клюквенном желе и молоке, как кузен Сол хлопнул свой стакан с виски о стеклянную крышку стола и взревел: «Черт возьми! Я не потерплю, чтобы мой родственник занимался этой презренной работой». Поэтому сейчас Питер улыбнулся Эстер и, старательно подбирая слова, произнес по-английски:

– Добрый день, леди. Я вижу, мы работаем над вечерним меню. Что мы готовили?

– Что мы готовим, – поправила его Эстер.

Это была миниатюрная женщина с короткими волосами, завитыми и причесанными так, что, казалось, они встали дыбом от испуга; она носила украшенный цветами кафтан, несколько нитей бус из отшлифованных камней, на губах – яркая красная помада, восковой отпечаток которой она оставила на его щеке, наклонившись и поцеловав его в знак приветствия. Питер напомнил себе, что позже, когда она не будет его видеть, надо вытереть этот след.

– Я готовлю ра-та-туй, – по слогам произнесла Эстер. – Это такое овощное рагу – слышал о таком? – хотя оно на завтра, а не на сегодня. Разные вкусы сочетаются лучше, когда готовишь накануне. А сегодня у нас клуб, помнишь?

Питер подумал и кивнул. По меньшей мере дважды в неделю они обедали в загородном клубе кузена Сола и так же часто посещали мероприятие по сбору средств на благотворительность, организованное кузеном Солом; сегодня же оба этих события объединялись.

– Очень хорошо, – произнесла Эстер. Она глубоко затянулась сигаретой, тлеющей в нефритовой пепельнице в форме черепахи посреди цукини. Шеф-повар в «Адлоне», подумал Питер, пригрозил бы отрубить Эстер палец, если бы увидел, как она курит возле еды.

– Твой новый смокинг в твоей комнате, – проговорила Эстер, улыбаясь Питеру. На переднем зубе виднелось маленькое красное пятнышко помады, но все равно улыбка выглядела ослепительной. – Инес заблаговременно забрала его у портного Сола, да, Инес?

– Да, мадам, – произнесла Инес, не отрывая глаз от рыбы. Инес никогда не смотрела на Питера прямо и никогда не разговаривала с ним; ее английский, как заметил Питер, был еще более скудным, чем его. Она в основном ограничивалась ответами «да» и «нет» хозяевам. Но иногда, когда ни кузена Сола, ни Эстер не было дома, Питер время от времени краем уха слышал, как Инес обсуждает его по телефону или с садовником: втягивает щеки и стучит себя по ребрам, изображая скелет, истощение; прищелкивает языком, издавая какие-то тархтящие звуки, перемежая их качанием головы и вздохами «Ай-ай!»

– Костюм мистера Питера у него на двери, – сообщила Инес, и Питер на секунду вспомнил то унижительное посещение портного кузена Сола: как он примерил один из смокингов Сола, а портной, коротышка с большими усами, сказал Эстер: «Тут у меня мало что получится. Сол как минимум футов на девяносто крупнее. Нам придется сшить ему новый», а затем с сочувствием взглянул на ноги Питера.

– Ты уже ел? – спросила Эстер Питера, и Питер ответил, что да, спасибо, он пообедал в «Ойстер Баре». Эстер покачала головой и погасила сигарету. – Этого мало, – сказала она, раскрывая холодильник. – Вот, тут подливка из белой рыбы и, думаю, у нас осталось немного крекеров... о, хочешь персик? Последний в этом году... или печенья?

Питер улыбнулся, но вновь ответил, что нет, спасибо. Только приехав в эту страну, он был поражен всей этой едой: ее изобилием, пьянящей палитрой вкусов и тем, что ты мог есть все, что захочешь, когда захочешь, – а он был голоден всегда. Сейчас почти всегда его желудок напоминал скукоженный орех.

– Ну хоть немного ругелах, – настаивала Эстер, пихая ему в руки тарелку с маленькими пирожными, приправленными сливовым джемом и посыпанными толченым орехом, которые Питер до приезда в Америку никогда не видел. «Он не знает, что такое ругелах?» – спросила как-то пораженная Эстер кузена Сола, а Сол пожал плечами и ответил: «Сколько раз тебе говорить, что Ави и его семья не соблюдали обычаи».

Питер из вежливости взял ругелах и стакан молока. Эстер потрепала его по щеке, а затем ущипнула ее, хотя Питер, в свои двадцать шесть, уже лет пятнадцать не позволял такого даже собственной матери.

– Такой красавчик, – проговорила Эстер, едва сдерживая слезы. – *mien scheena Jung!*[11 - Мой красивый мальчик (идиш).] Что эти чудовища гои с тобой сделали. – И она оторвала лист от того, что, как запомнил Питер, называлось «бумажным полотенцем», и высморкалась. – Иди, иди, – произнесла она, отмахнувшись от него самодельным платком. – Иди искупайся, полежи, отдохни. У нас сегодня важный прием.

3

Питер стоял в нерешительности в темном вестибюле за кухней, держа в руке тарелку с пирожными, напоминающими мышек. Позади него напольные часы, точно такие же, как в родительском доме Питера, пробили четверть часа. Он подсчитал, что у него осталось сорок пять минут до того, как Сол вернется домой, раскрасневшийся от виски «Краун Роял» и либо от триумфа, что он задал трепку в бридж своим приятелям-пассажирам в вагоне-ресторане, либо от ярости, что они обчистили его карманы. В любом случае Питер не хотел попадаться на пути у Сола. Он обдумал вариант с бассейном. Для купания времени было предостаточно, и на секунду Питер вообразил себе, как переодевается в раздевалке с полотенцами в полоску и приятным запахом хлора, как плавает на спине в искусственной бирюзовой лагуне, слушает шум водопада и разглядывает крону огромного дуба, раскинувшего свои ветви над бассейном. Хотя в последний раз, когда Питер так делал, он услышал шуршание в диком тростнике, отделяющем собственность Сола от соседской. Лежа на надувном матрасе, он повернул голову и, прикрыв глаза, заметил, как две маленькие девочки, живущие по соседству, рассматривают его и перешептываются. Поняв, что он их заметил, они убежали, быстро и пугливо, как олени, но не раньше, чем Питер увидел, что они почти одного и того же

возраста, что и Виви с Джинджер, его двойняшки...

Он решил не ходить в бассейн и вместо этого двинулся в направлении дома. Комнаты были заперты и загромождены сокровищами из многочисленных довоенных путешествий кузена Сола и Эстер за границу: японские свитки и золотые статуэтки Будды; русские матрешки и персидские ковры; коллекция Эстер из венецианского стекла. Здесь же была и освещенная витрина, за которой лежало то, что, как объяснила Эстер, приподняв свои подрисованные брови от огорчения и жалости к его невежеству, было еврейскими артефактами: старинные дрейдлы[12 - Дрейдл - четырехгранный волчок, с которым, согласно традиции, дети играют во время еврейского праздника Ханука.] и меноры[13 - Менора - золотой семирожковый подсвечник на семь свечей (семисвечник), который, согласно Библии, находился в Скинии собрания во время Исхода, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения Второго Храма.], принадлежавшие отцу Сола; талит[14 - Талит - молитвенное облачение в иудаизме.], которым когда-то владел известный раввин. В гостиной стояли арфа и в специально приспособленном углу концертный рояль «Стейнвэй», на котором, насколько Питеру было известно, никто не играл.

Он прохаживался, водя пальцами по гладким поверхностям без единой пылинки. Его ноги бесшумно, словно это были ноги привидения, скользили по восточным коврам. В какой-то момент он, должно быть, поставил пирожные, но не мог вспомнить, где именно. Подобные провалы в памяти все еще донимали его, хотя случались все реже. Это шок, говорил врач Сола, когда Питер впервые приехал в Нью-Йорк: последствия голода и всего пережитого Питером. Отдых и хорошее питание помогут свести их на нет. И вроде бы так и происходило, подумал Питер. На работе, например, он без особых проблем хранил в памяти заказы, хотя время от времени он все еще садился на поезд не в ту сторону или оставлял книгу в холодильнике Эстер, а однажды, и это его очень сильно напугало, он проснулся посреди ночи и на протяжении нескольких панических секунд не мог вспомнить свое собственное имя.

В конце длинного коридора, за помещениями, где обитала Инес, располагалась комната, которую Эстер выделила Питеру - Ткацкая комната, как назвал ее сам Питер из-за того, что его раскладушка делила кузее, оклеенное туалетом, помещение с огромным ткацким станком Эстер, на котором она соткала не один ярд мохера. Питер вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. На крючке, как и обещала Эстер, висел его новый сюртук. Питер медленно разделся до нижнего белья и снял с крючка костюм, но, вместо того чтобы надеть, он

набросил его на ткацкий станок и стал рассматривать себя в полноразмерном зеркале на обратной стороне двери. Его тело выглядело почти белым из-за света, преломленного водой пролива Лонг-Айленд, синеющей за окном – Ткацкая комната была одной из немногих в доме, куда проникали прямые солнечные лучи. Физическая форма Питера, как и его память, не до конца вернулась в довоенный вид – или, если быть точнее, к тому телу, которое было у него до Терезина и Аушвица. До депортации, даже во время нормирования питания, Питер, как ни странно, был довольно крепок. Эдакий побочный эффект работы на кухне в отеле «Адлон» – работы, которая требовала выносливости, силы и проворства. Как же Маша любила поддразнивать его по этому поводу, нежно поглаживая его спину, плечи, бицепсы и отмечая его сходство с американским артистом Бастером Краббе. «Мой муж – Флеш Гордон, – говорила она, целуя его в шею, – мой собственный Тарзан!» Питер вздыхал и закатывал глаза, хоть втайне он предпочитал сравнение с героем джунглей тем ужасным двум неделям, когда Маша решила, что он выглядит скорее как Эррол Флинн, и заставила его отрастить тоненькие усики. «Ты просто хочешь посмотреть на меня в леопардовой набедренной повязке», – подтрунивал он над ней, и в их медовый месяц он изрядно удивился, когда Маша вытащила именно ее – нелепую полоску пятнистой ткани, которую сшила сама. Тогда он обмотал ее, как тюрбан, вокруг головы вместо паха. «Иди ко мне, – произнес он, изображая, как мог, акцент арабского шейха. – Ты моя служанка. Я заплатил за тебя десять тысяч верблюдов!», и с ревом стал гоняться за Машей по номеру роскошного отеля. Они прыгали по кровати, как дети, опрокидывая лампы и стулья. И как же они смеялись, как смеялись...

Потом Питер снял исподнее, с пренебрежением бросив взгляд на свой член. Беспольный отросток. Беспольный еще и потому, что до сих пор работал – пробуждал его по утрам, а иногда и по ночам, набухая и пульсируя. Для чего? «Ты молод, – говорил врач Сола. – Это всего лишь небольшое остаточное повреждение; ты быстро восстановишься. Ты тот еще везунчик». Питер натянул свежие трусы и новую хрустящую рубашку, прикрывая багровые шрамы на грудной клетке и спине – сувениры от офицера СС, недовольного тем, с какой скоростью Питер укладывал надгробные плиты с близлежащего еврейского кладбища при мощении дороги в Терезине. «Эй ты, – всплыл в памяти голос мужчины, бьющего его дубиной. – Давай быстрее. Быстрее! Или я тебе так наподдам по жопе». У Питера было преимущество – он понимал этого мужчину, говорившего на родном языке Питера, – в отличие от заключенного рядом, который, не уловив смысла, продолжал двигаться недостаточно быстро, чтобы это устроило офицера, который тут же спустил на него собак. Даже здесь, в Ткацкой комнате, Питер иногда вдруг просыпался ото сна, в котором ему

приходилось снова и снова переступать через жгуты кишок, дымящихся на надгробных плитах.

Дом завибрировал, когда гаражные ворота – новинка, к которой Питеру еще предстояло приспособиться, – с грохотом поехали вверх по направляющим, а минуту спустя Питер услышал рев кузена Сола: «Эстер, я дома!» Раздался резкий и отрывистый голос Эстер, затем – треск выковыриваемых из лотка кусочков льда и чоканье стаканов. Сол требовательно спросил: «Где мой сюртук? Ты его забрала из чистки?» Снова Эстер: неразборчиво, но уже ближе. Возможно, она, стараясь не отставать, семенила немного позади Сола, громыхавшего по коридору. «Что? – переспросил Сол. – Белая рыба. Давай немного. Я умираю с голоду». Матрешки загромыхали на столе возле раскладушки, когда тяжелая поступь Сола послышалась ближе. Сол мог быть близнецом отца, которого отделили при рождении и увезли в Америку: низкие, коренастые, крепко сложенные мужчины, которых было слышно за сотню метров, с превосходными сигарами во рту, которые они вынимали лишь для того, чтобы выпустить дым и высказать свое мнение. Мужчины, которые своими силами добились успеха и у каждого из которых имелось свое собственное адвокатское бюро, – так называемые влиятельные люди. По крайней мере, Авраам, отец Питера, таковым являлся до того, как нацисты разрушили его дело; и даже тогда Авраам продолжал сосредотачивать деньги и влияние в организациях, переправлявших еврейских друзей в дальние страны. Позже, после того как нацисты забрали Авраама во время Ночи разбитых витрин[15 - Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9–10 ноября 1938 года.] и отправили его в Бухенвальд, тот проявил себя как упрямый, непотопляемый человек – он вернулся, в отличие от многих других, и продолжил свою незаконную деятельность, на этот раз переправляя кузену Солу денежные средства в сети Сопrotивления во вновь созданных в Польше гетто. «Мы НЕ уедем! – бушевал Авраам, как только мать Питера, Рива, затрагивала эту тему. – Ты хочешь, чтобы я склонил голову перед этим отребьем? Наша семья занималась адвокатурой в Берлине, когда их деды-крестьяне свои жопы ладошкой вытирали. Наша семья НЕ убегает». Только после того, как нацисты увезли Авраама во второй раз, – снова в Бухенвальд, как позже выяснил Питер, а потом в Лодзь и наконец в Биркенау, – Авраам наконец успокоился, оставив Сола продолжать свое благое дело.

«А где эта nebbish?[16 - Размазня (идиш).] – говорил теперь Сол, почти за дверью Ткацкой комнаты. Он, решил Питер, стоял возле входа в главную спальню Сола и Эстер. – Он вернулся из города?», а Эстер сказала что-то утвердительное

озабоченным тоном, а Сол спросил: «Он свой костюм-то хоть получил?», а Эстер заверила его, что да, получил, а Сол произнес: «Помощник официанта. Schlemiel! [17 - Растяпа (идиш).] После того, что я для него сделал. Мой кузен Ави, наверное, в гробу переворачивается, если, конечно, эти нацистские ублюдки ему его предоставили», а Эстер сказала что-то вроде «Тсс, он же тебя услышит!» – и раздался звон и бряканье кубиков льда, когда Сол передал ей свой стакан. «Нальешь мне еще такой же? – попросил он. – И будь готова. Через полчаса выезжаем». Хлопнула дверь. Скрипнул пол, когда Эстер заспешила по коридору. Питер повязал галстук вокруг воротника рубашки и подошел к раскладушке. Он повернул голову в сторону оклеенной туалетом стены. Прищуренный глаз благородного оленя, которого преследовали охотящиеся лорды и девицы, таинственно уставился на Питера. Питер лег и закрыл глаза от вечернего солнца.

4

К тому времени, как они прибыли в гольф-клуб – не в «Уайт Стэг», который очень сильно напоминал Питеру Schlo? Charlottenburg, а в «Брайар Роуз», куда пускали евреев, – кузен Сол основательно окосел, как бы сказали американцы. Питер нахватался от работников кухни «Ойстер Бара» множества подобных фраз, обозначающих опьянение: готовый, накушавшийся, ужравшийся, и самое образное – заливший глаза. Состояние Сола подходило под все вышеперечисленное. По всему дому в Ларчмонте в удобных местах были расставлены бутылки «Краун Роял». Питер наткнулся на темно-синие бархатные мешочки с золотыми надписями и окантовками в фонографе Сола, в закуточке для принятия пищи, в раздевалке бассейна и в дамской комнате рядом с фойе – в последнем случае, под подолом вязаной дамы, которая прикрывала туалетную бумагу. Еще, по всей видимости, Сол припрятал бутылку в бардачке «Вольво», чтобы было удобно глотнуть немного во время езды. Дороги в Ларчмонте были серпантинными: они извивались посреди огромных обнаженных горных пород и вдоль береговой линии пролива, а от нестандартной езды Сола они становились еще более изогнутыми. Как-то раз Сол не только пересек желтую разделительную линию – это случалось довольно часто, – но и оцарапал «Вольво» об один из валунов, от чего раздался пронзительный визг, а Эстер схватила Сола за руку и закричала: «Соломон, ты же нас убьешь!», а Сол стряхнул ее руку и заорал: «Черт возьми, Эстер, отстань от меня! Я знаю, что делаю!» Получившаяся в итоге пробоина вдоль всей боковины автомобиля оказалась достаточно глубокой, чтобы заработать ошарашенный взгляд от чернокожего парковщика, прежде чем подсунутая ему Солом крупная купюра

привела его в чувства. Питер оправился не так быстро. Он не испугался угрозы аварии, но его тошнило, и вестибюль клуба качался и кренился у него перед глазами, пока он не совладал со своим желудком.

Все устремились в сторону ресторана. Друзья и коллеги Сола – «шишки», как они себя называли, сильные мира сего, доктора, адвокаты, владельцы бизнесов, которые открывали школы и жертвовали на благотворительность. По пути к столу они останавливались, чтобы похлопать по спине Сола, поцеловать в щеку Эстер и улыбнуться Питеру. В нишах вестибюля стояли цветочные композиции; на стенах висели портреты президентов клуба – и самый заметный среди всех – Сола; под ногами лежал роскошный ковер с золотыми узорами; обои мятного цвета с веселыми полосами и розовыми фламинго; над головами позвякивала люстра. Искусственно охлажденный воздух благоухал запахами алкоголя и бесчисленных женских духов. Питер прошел следом за Эстер к столу ресторана с видом на поле для гольфа и внезапно очутился перед темноволосой женщиной его возраста в ярко-желтом платье и жемчугах.

– Питер, – произнесла Эстер, – это мисс Рейчел Нуссбаум. Рейчел, это наш кузен Питер из Европы, о котором я рассказывала твоей маме. – И Эстер ущипнула Питера за руку сквозь пиджак.

– Очень приятно познакомиться, – проговорил Питер и слегка поклонился, отчего щеки мисс Рейчел Нуссбаум тут же приобрели малиновый оттенок. Она улыбнулась Питеру, когда он выдвинул для нее стул. Она казалась застенчивой, грациозной – судя по тому, как она сложила под собой широкую юбку, – и чрезвычайно миленькой – полной противоположностью Маше. Маша, со своим некрасивым, вытянутым, как у жеребенка, лицом, не была миленькой, но ее настолько переполняла бьющая ключом жизнь, что буквально разрывала. Маша с ее светящимися глазами и зубами – это первое, что заметил в ней Питер тогда, на кухне отеля «Адлон», – ее неожиданно грубоватый смех и ее единственная гордость – прекрасные, прекрасные волосы, как у Вероники Лейк...[18 - Американская актриса.]

Питер улыбался мисс Рейчел Нуссбаум, пока его соседи по столу усаживались на мягкие стулья; он изображал интерес, когда она говорила, задавая ему вопросы: как Питеру нравится в Америке, как ему бабье лето, но в ответ он произносил лишь «Bitte?»[19 - Пожалуйста (нем.)] и «Entschuldigung Sie?»[20 - Прошу прощения (нем.)], наклоняясь вперед и прикладывая ладонь к уху, словно он плохо слышал, и через некоторое время мисс Рейчел Нуссбаум погрузилась

в озадаченное молчание, чего и добивался Питер. Эстер, которая, конечно же, знала, что Питер довольно неплохо владеет английским, несмотря на его прерванное обучение, наблюдала за этим спектаклем со своего места и, покачивая головой, пробормотала: «Тебе пора бы начинать жить заново, bubbeleh»[21 - Сынок (идиш)]. Но затем потянулась к нему и похлопала его по руке.

Чернокожие официанты в белых перчатках внесли первое блюдо – изрядно подсохший уолдорфский салат. Питер не любил яблоки с зеленью, как и отклонение от стандарта под названием «американский майонез», который, он знал это, выдавливали из пластмассовых баночек, вместо того чтобы делать свежий, поэтому он ковырялся в этой бурде вилкой, прислушиваясь к разговорам вокруг. Темы были обычными: счет в гольфе и политика, непослушные домработницы и одежда. Питер знал большинство сидящих за столом: Нуссбаумы-старшие и Веберы, Штейны и Розенберги. Но присутствовало несколько человек, с которыми его не знакомили и которые бросали на него озадаченные взгляды до тех пор, пока он не сообщал им, кто он такой. Затем их лица менялись, принимая либо выражение преувеличенного сострадания, либо то же самое непонятное вкрадчивое любопытство, которое этим утром отразилось на лице Doppelgänger его матери в «Ойстер Баре». Питер продолжал копать вилкой в своем салате. Он уже привык к подобным взглядам еще с мая, когда в газетных киосках появился первый журнал «Лайф» с фотографиями, сделанными Маргарет Бурк-Уайт[22 - Американский фотограф и фотожурналист.], и заголовками: «ЗВЕРСТВА НАЦИСТОВ» и «У ВОРОТ В ПРЕИСПОДНЮЮ!» над черно-белыми изображениями скелетообразных заключенных и сваленных в кучу трупов. Бедная Эстер сама не своя ходила несколько дней за Питером по коридорам дома в Ларчмонте, тряся перед ним журналом, и вопрошала: «Так все было на самом деле, Питер? Ты это видел? А вот это? или, Боже всемогущий, это?» Питер извинялся и уходил в Ткацкую комнату, ссылаясь на утомление. Ему даже не нужно было смотреть на эти изображения. Не было необходимости. Трупы он видел в цвете.

Сосед Питера по правую руку, Дэн Розенберг, ткнул его в бок.

– Ну и как тебе работать на alte kakker?[23 - Старик (идиш).] – прогромыхал он.

Питер попытался перевести это, пока Дэн ждал, источая нетерпение и запах виски. Дэн был одного с Солом возраста и мог бы быть одного возраста с отцом Питера, Авраамом: около пятидесяти пяти; лысая, покрытая пятнами голова и удивительно багровые губы, похожие на две полоски отрезанной печени. Дэн

поднял свой высокий стакан в сторону Сола, сидящего на противоположной стороне круглого стола.

– КАК ТЕБЕ РАБОТАТЬ НА СОЛОМОНА, – отчетливо проговорил он, словно Питер тупой. – В ЕГО АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЕ?

– А, – ответил Питер. – Я не работаю на Сола. Я работаю в ресторане.

– А МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ТЫ СТУДЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТETA, – заявил Дэн.

– Это было давно, – сказал Питер. – Теперь я работаю в «Ойстер Бар» на Центральном вокзале. Приходите. Мы подаем бесподобные устрицы «Рокфеллер».

Дэн, по-видимому, с подозрением отнесся к откату Питера от специалиста в области права к поваренку. Он бросил взгляд на свою жену Бельву и постучал пальцем себя по виску.

– В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, – прогремел он, – СОЛЛИ – ЧЕЛОВЕК ДОСТОЙНЫЙ. ТЕБЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО ОН ТЕБЯ ОПЕКАЛ, КОГДА ЕЩЕ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ БЫЛО В ЛАГЕРЯХ.

– Дэн! – Бельва Розенберг раскрыла рот от удивления.

– Я имел в виду лагеря для перемещенных лиц, а не другие, – пробормотал Дэн и уткнулся в свой стакан.

Беседа возобновилась. Мимо панорамных окон в искусственном озерце на поле для гольфа проплывали лебеди. Чернокожий официант сменил салат Питера на убогого запеченного лосося, покоящегося среди нарезанного в виде цветочков редиса. Питер теребил рыбу, всей душой желая сидеть сейчас на кухне с персоналом, а не на этом мягком стуле. Он бы показал им, как правильно приготовить эту рыбу, испекши ее в пергаментной бумаге, а затем, когда они сделали бы передышку и пошли курить за кусты рододендрона – он уже замечал подобное, – он бы присоединился к ним. Ему бы понравилось работать в клубе, которой располагался неподалеку от дома в Ларчмонте, но, естественно, Сол и слушать бы не стал. Питер каждый день задавался вопросом, что случилось

с его друзьями с кухни «Адлона»; у него даже не было шанса попрощаться с ними – вот он на работе, а на следующий день – депортирован. Возможно, они все еще работали там, и, возможно, «Адлон» остался таким же, как и раньше: самым роскошным рестораном лучшего отеля Берлина. Питер понимал, что это маловероятно – он слышал, что «Адлон» бомбили, – но он все еще держал в памяти, как фотокарточку, его мраморные колонны, зеркальные стены и клиентов-звезд, сводивших с ума Машу. Однажды Питер опознал Генри Форда, а седовласый джентльмен, курящий в холле, определенно был Альбертом Эйнштейном, но больше всего Машу поразило Кларк Гейбл и фрау Марлен Дитрих, чернокожая певица Жозефина Бейкер и актриса Луиза Брукс...

Официанты в белых перчатках убрали тарелки из-под лосося и смели крошки со столов. Зазвенело столовое серебро о стекло, и на трибуну в центре зала взобрался Сол со скотчем в руке. Раздались аплодисменты. Сол слегка поклонился.

– Спасибо, – произнес он.

Свет потускнел.

– Многие из вас меня знают, – начал Сол.

Кто-то в зале прокричал: «Конечно знаем, Солли!», вызвав смех и возмущенное шиканье. Сол терпеливо выжидал. В свете прожектора его лицо казалось таким румяным от гольфа и рыбалки, что его можно было принять за одного из чернокожих, прислуживающих за столом. Не так давно Питер случайно услышал, как Эстер со смехом секретничала по телефону: «Соломон так загорел, что я проснулась прошлой ночью и закричала – я подумала, что в моей постели негр!»

– Мы здесь сегодня собрались после Дней трепета[24 - Десять дней между праздниками Рош ха-Шана и Йом Кипур.] не только для того, чтобы насладиться компанией друг друга, но и чтобы найти еще один способ загладить вину, жертвовать, – произнес Сол в притихшем помещении. – А пожертвования нужны постоянно. Все вы знаете, я очень целеустремленный человек. Я состою в совете Еврейского распределительного комитета уже тридцать лет. Мы с Сали Мейером видели плохие предзнаменования для европейских евреев еще до того, как все вы услышали слово «нацисты». Мы финансировали эмиграцию евреев в Канаду,

в Америку и Палестину. Мы собирали средства на еврейские школы, больницы и приюты. Потому что мы знали, что произойдет с нашим народом.

Он прервался, чтобы сделать глоток скотча.

– В 1944 году я был назначен самим президентом Рузвельтом в Совет по военным беженцам, – продолжил он тем же раскатистым тоном, который Питер слышал у него однажды на званом ужине поскромнее, когда тот объявлял: «Я внес решающий вклад в доставку польской ветчины в эту страну!», заставив Питера задаться вопросом, были ли спасение еврейской общины в Европе и импорт мясных рулетов равнозначны для Сола. – Это моя задача – обеспечить разоренным войной евреям безопасный путь в эту страну и помочь им начать новую жизнь, – сказал Сол. – Сегодня здесь присутствует как раз такой молодой человек, который потерял все. – И Сол указал в сторону Питера рукой со стаканом. – Этот молодой человек – мой родственник, – сообщил Сол. – Его отец, Авраам, был моим любимым кузеном. Мы играли вместе, будучи детьми, когда наши семьи проводили лето в Альпах, и взрослыми – когда нацисты стали загонять наш народ в гетто. Ави и я... Ави...

В этом месте Сол отставил свой стакан. Снял очки и вынул платок. Так происходило каждый раз. Питер знал, что слезы искренние, и это было еще ужаснее. В сумраке комнаты раздались солидарные всхлипывания. Зашмыгали носы, затем послышалось сморкание. Питер чувствовал, как мисс Рейчел Нуссбаум с поблескивающими от слез глазами бросает на него взгляды. Он знал, что произойдет дальше: Сол расскажет историю его собственной погибшей семьи, родителей Питера. За спиной Сола опустится экран, и на них станут проецироваться слайды, сменяя со щелчком друг друга: гетто и лагеря, а затем – примитивные поселения беженцев, еврейские больничные палаты и общественные центры, изможденные и погибшие еврейские дети. Будут слезы жалости и злости. Сол подчеркнет, что это благое дело – лишь начало, и до конца еще далеко. Из внутренних карманов появятся чековые книжки, увеличив и без того высокую стоимость ужина. И в качестве *pi?ce de resistance*[25 - Главный номер программы (фр.)], доказательства, Питера позовут встать вместе с Солом под свет прожекторов; его попросят снять запонку и закатать рукав, чтобы было видно татуировку. А пока Питер снял свой пиджак, чтобы быть готовым. Он сел в потемках и принялся ждать сигнала к выходу.

Питер сбежал после представления, когда решил, что его не хватятся: пока подавали десерт – шарики ванильного мороженого, тающего в серебряных чашах, – и пока продолжалось то, что Сол называл «очковтирательством». Несмотря на то, что Питер пытался выскользнуть из помещения по периферии, одна заплаканная дама все же остановила его и принялась рассказывать, что вся ее семья, ее дяди и тети и все их отпрыски погибли в тех лагерях, – все, абсолютно все! После чего она немного поплакала на его накрахмаленной сорочке – и он был свободен. Он выскользнул в коридор и быстро двинулся, опустив голову, к ближайшим дверям, ведущим наружу на лужайки для гольфа. Но вдруг раздался тихий голос:

– Привет. – Около выхода в своем желтом платье стояла мисс Рейчел Нуссбаум, всматриваясь в ночную мглу. – Я вышла выкурить сигаретку. Составите мне компанию? – спросила она. – Очень сочувствую вам по поводу того, что с вами произошло в тех... местах. Там, наверное, было... ужасно.

Питер улыбнулся, кивнул и, изобразив на лице отчаяние, резко сменил курс и прошмыгнул в мужской туалет.

Внутри выложенного кафелем помещения, наполненного запахом мокрых бумажных полотенец и освежителей для унитаза, Питер заперся в кабинке и, не расстегивая и не снимая штанов, сел на стульчак. Вытер лоб ладонью; он весь вспотел, волосы взмокли и растрепались слипшимися из-за геля космами, и он опасался, что от него плохо пахнет. Это Питер ненавидел больше всего. В лагерях они все воняли. Он прижался лбом к холодной металлической стене кабинки и закрыл глаза. Когда уже – через пятнадцать, через двадцать минут – закончится этот ужин и они смогут пойти домой? Или, по крайней мере, в дом в Ларчмонте. Правда, Питер не знал, почему хочет этого; на самом деле, это было ничем не лучше. Какая разница, находился ли он тут, изображая дрессированную собачку, или лежал на своей койке в Ткацкой комнате, скрестив руки за головой и пялясь в темноту? Не существовало такого места, где бы с ним не находились они – Маша, Виви и Джинджер, – и не существовало такого места, где бы они могли быть с ним рядом. Негде было отдохнуть от гнетущего существования, мест для успокоения в мире больше не существовало.

Должно быть, Питер задремал, прислонившись к стенке кабинки, но он моментально проснулся, когда, лязгнув, открылась дверь в туалет, и внутрь вошли двое мужчин. Голос Сола он узнал бы где угодно; второй, по-видимому, принадлежал компаньону Сола по рыбалке, Датчу – имя вводило в заблуждение,

потому что этот человек датчанином вовсе не являлся. На самом деле, как он однажды сказал Питеру, когда они втроем рыбачили на лодке Сола, Датч и его семья были евреями, выходцами из Румынии, и он не знал, что с ними произошло – они не были близки, – но он полагал, что их, по всей видимости – жжжжик! – и Датч провел ладонью поперек горла.

– Как думаешь, Солли, сколько ты сегодня поднял? – спросил Датч, когда они расстегивали ширинки.

Сол что-то невнятно пробормотал.

– Ух ты, – проговорил Датч. – Вот это улов.

Затем раздался звук мощной струи, бьющей по фарфору.

– А я и не знал про парнишку, – продолжил Датч. – Что он был не в одном лагере. Я думал, он просто находился в бегах, а потом попал в тот, ну, по-настоящему скверный.

Сол произнес еще что-то, но его голос заглушил звук спускаемой воды, а затем Датч сказал:

– Вот ведь, жаль-то как. И все же, слава богу, что у него есть ты, Солли, да? Это самая настоящая мицва[26 - Доброе дело (идиш).], что ты вот так ему помогаешь.

– Он же мне родной человек, – произнес Сол.

– Как ему работается в адвокатской конторе? – спросил Датч.

– Он там не работает. Он чистит столы в каком-то ресторанчике на железнодорожном вокзале.

Побежала вода из крана.

– Как так? Почему? – удивился Датч.

– Да от него толку никакого, – ответил Сол. – Совершенно никаких амбиций. Он никогда ничего не добьется. Рохля – так его называл его собственный отец.

– Хм, – протянул Датч. А затем осторожно добавил: – Он не гомосексуалист?

– Нет, – сказал Сол. – У него была семья, жена и двое детишек. Самые милые девчушки-двойняшки, какие только бывают. Но они не выжили. Ему не хватило мужества спасти их.

– Вот ведь, – снова проговорил Датч. – Жаль-то как.

Закрылся со скрипом кран, повернулся держатель бумажных полотенец, открылась дверь и с лязгом захлопнулась.

Питер подождал, пока они уйдут. Затем он выбрался из кабинки и умыл руки и лицо. Он провел пятерней по блестящим волосам, разглаживая их, и равнодушно взглянул на себя в зеркало. Если бы существовало действие, которое могло бы выразить бурлящий в нем ураган эмоций, он бы с радостью его совершил. Вместо этого он поправил жилет у своего костюма, собрался с силами и вышел.

III

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ

Пятница, 21 сентября 1945 года

6

На следующий день, в пятницу, Питер ел гамбургер на кухне «Ойстер Бара» в ожидании обеденного наплыва посетителей, когда зашел менеджер Лео. Это был редкий случай; обычно Лео сидел в своем кабинете или изучал фасад здания – Питер почти не встречал его с тех пор, как устроился на работу. Лео в свои пятьдесят с небольшим был лысый, но с длинной, как у раввина, бородой; его переполняла жизненная энергия, словно компенсируя этим недостаток волос на голове. Еще он был косоглазый, поэтому в тех случаях, когда Лео обращался

к Питеру, последнему было сложно поймать его взгляд, и приходилось довольствоваться переносицей менеджера. У работников имелось множество прозвищ для него: его называли «Лысая башка» или иногда «Генералиссимус», – но Питеру он нравился. Лео был добр к Питеру с того самого июньского дня, когда Питер, выбравшись из поезда с Ларчмонта и убивая время до своих занятий английским на Нижнем Ист-Сайде, заглянул в «Ойстер Бар» и, заказав сэндвич с куриным салатом, стеснительно поинтересовался, не нужна ли Лео какая помощь? Лео закатил свои косые глаза и произнес: «Паренек, я что, похож на доску объявлений?» Но затем он заметил татуировку на руке Питера, выражение его лица смягчилось и наполнилось сочувствием, и он сказал: «Ну хорошо, повар мне сейчас не нужен, но, думаю, пригодится помощник официанта. Почему бы нам не начать с этого? А там посмотрим». Хотел бы он получить работу не из жалости. Ему бы больше хотелось показать, на что он способен, – как однажды вечером после закрытия, когда он приготовил работникам cr?pes[27 - Французские блины.], добавив в них в качестве секретного ингредиента сельтерской воды, чтобы придать тесту ажурности; как они хлопали, когда Питер переворачивал, подкидывая, на сковородке большие тонкие блины! И все же, несмотря на свою застенчивость, Питер был благодарен за эту работу – она была гораздо лучше, чем быть мальчиком на побегушках в офисе кузена Сола, а потом, когда он доведет до совершенства свой английский, дорасти до клерка и в конце концов до вселяющей ужас адвокатской практики.

В этот раз Лео выглядел грустным. Он подошел, сердито осмотрелся поверх своей кустистой бороды и, повысив голос так, чтобы его было слышно сквозь шипящие грили и бурлящие посудомоечные машины, сказал:

– Где паренек?

– Ты про нашего Симпатьяшку? – спросил Большой Эл, один из поваров. – Он там, возле холодильной камеры, объедает нас, как обычно. – Он вытер пот со лба и подмигнул Питеру.

Большой Эл Питеру тоже нравился, хотя поначалу он был заморожен и немного опасался его – это был первый негр, которого Питер видел лично, вне кинозала. Но Большой Эл во время войны тоже находился в Европе, принимал участие в Арденнской операции и тоже, как и Питер, был беженцем в изгнании. «Я из Атланты, парень, – сказал тогда Большой Эл. – И не слушай тех, кто говорит, что Юг – это не другая страна, потому что она точно другая. И я туда больше

никогда не вернусь. Наверное, после того что я пережил, у меня есть право считать себя настоящим мужчиной». Большой Эл безжалостно подтрунивал над его видом, что – Питер это знал еще с «Адлона» – было знаком благосклонного отношения, и над тем, что Большой Эл называл двойной жизнью Питера. «Слушай, да ты у нас Рыцарь Отважное сердце», – захихикал однажды утром Большой Эл, выставив перед собой раздел светской хроники в журнале, оставленном на столе посетителем. К большой досаде Питера, там оказалась его с Солом фотография на одном из благотворительных вечеров, на этот раз в Пирре. «Ты что, у нас секретный агент? Я так и знал, что ты скрываешь что-то! Чего ты здесь батрачишь за нищенскую зарплату, когда мог бы бегать на свидания с мисс Ланой Тернер[28 - Американская актриса.]. Где твой смокинг?» Но потом, в более спокойной обстановке, когда Питер объяснил, что он – «человек-вывеска» для достойных восхищения идей кузена Сола, Большой Эл посмотрел на него сначала задумчиво, а потом с грустью. «Я понимаю, – сказал он. – Мы с тобой похожи, парень. Я для белых, а ты для нацистов – а теперь и для своего собственного народа, – мы оба с тобой ниггеры».

– Эй, Златовласка, – позвал Большой Эл. – Мистер Лео ищет тебя.

Питер подскочил с ящика с луком, на котором он сидел, наспех запихивая последний кусок мяса в рот. Независимо от того, что теперь он ел довольно мало, он не мог отказаться от гамбургеров; и ему повезло, потому что Большой Эл целыми днями лепил, как конвейерная линия, для него котлеты. «После того что с тобой сделали нацисты, на тебе мяса не больше, чем на цыплячем крылышке! Мы тебя немного откормим».

Лео обнаружил Питера в углу и поманил к себе.

– Паренек, – сказал он, – пойдём со мной.

Он повел Питера из окутанной паром кухни через заднюю часть ресторана в свой крошечный кабинет. В этой комнате тоже было жарко: забранный черной проволокой вентилятор шуршал календарем с красоткой, пряча и открывая Мисс Сентябрь 1945, словно играл с ней в «Кто там?», но практически не разгонял спертый воздух.

Лео сел на край своего стола и грустно посмотрел на Питера, который сжал кулаки и боролся с соблазном встать по стойке смирно. Он жалел, что хотя бы не

снял передник, покрытый пятнами кетчупа и соуса «Тысяча островов».

- Паренек, - проговорил Лео, - нам придется с тобой расстаться.

С минуту Питер не мог осмыслить услышанное. Он крутил сказанное в голове и так и эдак - расстаться? Остаться? - а в это время в его голове мелькал образ тянущейся к нему белой на зимнем солнце руки его дочери - Джинджер, а не Виви, - на платформе сортировочной станции Грюнвальда.

- Прошу прощения, - наконец произнес Питер. - Я не уверен, что понял.

Лео указал на руку Питера.

- Это из-за нее. Посетителям она не нравится. Они чувствуют себя неудобно.

- Ach, - начал он по-немецки, но тут же поправился, - а, вот оно что.

Он вспомнил, как вчера на его татуировку смотрела женщина - Doppelgänger его матери, и тут же опустил рукав, чтобы спрятать ее - зеленую метку, похожую на укус очень маленького зверька.

- Извините, Лео, - проговорил он. - У меня смена еще не началась, но... я буду аккуратнее. Я буду носить рубашку вот так... видите?

- Хотел бы я, чтобы было все так просто, паренек, - покачал головой Лео, - но это место не для тебя. Если бы дело было только в той, вчерашней, даме, но я не впервые слышу эту жалобу. Многие наши посетители говорили, что у них портится аппетит. Из-за того, что они думают об этом... ну... пока едят.

У Питера запылали уши, как будто Лео ударил по ним кулаком - как это любил делать с неуклюжими подчиненными шеф-повар «Адлона». Питер пытался сообразить, что ответить. Его первым позывом было рассмеяться и обратить внимание Лео на ироничность того, что у людей пропадает желание есть из-за образов людей, умирающих от голода. А затем он почувствовал усталость, ужасную усталость. Как же он устал от всего этого: от этих кислых мин, вот как сейчас у Лео, от выражений сочувствия, хотя тот, кто там не был, ни за что бы не понял; от указательных пальцев, прокручивающихся у виска, чтобы указать на

его плачевное умственное состояние; от жалости, любопытства, отвращения. Он устал от понимания того, почему эти американцы возмущались. Как хорошо он все понимал.

– Понимаю, – проговорил он сухо. – Я ухожу. Больше не причиню вам неудобств.

– Слушай, ну не надо так, паренек, – сказал Лео. – Я бы тебя оставил... если бы мог... да хотя бы и поваром – там, где никто бы не увидел твою... руку. Но тогда бы мне пришлось распрощаться с кем-то еще, чтобы освободить место, а кого? Большого Эла? Фрэнки? Лу?

Питер покачал головой. Он снял грязный передник, аккуратно его свернул и положил на стол Лео.

– Ты справишься с этим, паренек, – сказал Лео с убежденным видом. – Ты трудяга. И я знаю, что ты хороший повар. И еще ты везунчик, да? Ты пережил все, что эти нацистские ублюдки сделали с тобой и даже больше. Тьфу, тьфу, тьфу. – Он изобразил, что плюет на ковер. – Ты сам со всем справишься, я это точно знаю. Но здесь не получится.

Питер кивнул, и Лео проводил его до двери. Он положил ладонь на плечо Питеру и протянул ему конверт:

– Береги себя, паренек, – сказал он.

7

Питер вышел из «Ойстер Бара» в главный вестибюль. Он снова закатал рукава, развязал галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Теперь он знал, что означала его встреча с Doppelgänger его матери: встретить призрак чьей-то матери – к потере работы. А может, она означала, что они, его любимые, добрались до него, даже здесь, даже сейчас.

Он открыл конверт, который ему вручил Лео, – скорее чтобы чем-то занять руки, чем из настоящего любопытства, – и извлек оттуда пять хрустящих купюр. Десятки. Пятьдесят долларов – это... как это называлось на жаргоне?.. куча «зелени». По крайней мере, это была бы достаточно большая сумма для

беженца, которого бы не финансировал кузен Сол. Кровавые деньги, подумал он, запихивая конверт обратно в карман; способ для Лео успокоить свою совесть из-за того, что так расстался с Питером. Но ничего плохого в этом не было; что бы ни сделал Лео, чтобы чувствовать себя лучше, Питера это устраивало. Он будет немного скучать по Лео, Большому Элу и другим поварам, и по официантам, и по самой работе. Трудиться здесь было приятно: работа была не такой сложной, как на конвейере в «Адлоне», и гораздо менее изнурительной, чем его обязанности в Терезине: сначала в качестве повара, когда он поступил туда в 1943 году, затем, когда его стали переводить с должности на должность, – гробокопателем, асфальтоукладчиком и, наконец, труповозом, когда приходилось ежедневно ходить кругами по лагерю, собирая мертвецов, каждый из которых весил меньше, чем лотки для грязной посуды в «Ойстер Баре», грузить их в двуосную повозку и отвозить в крематорий. И, само собой, она была легче, чем работа Питера в Аушвице – хотя, справедливости ради, в последний лагерь Питера транспортировали в новогоднюю ночь 1945 года – за двадцать шесть дней до освобождения, когда среди эсэсовцев уже началась паника, и они были дезорганизованы, как муравьи, чей муравейник разорили. Так что Питер избежал самого страшного. Как отмечали портной, доктор и друзья Сола, Лео и многие другие в этой новой стране, Питер был везунчиком.

Он оглядел вестибюль, соображая, что же делать дальше. На часах не было и часа дня, до занятий по английскому оставалось еще несколько часов. Питер мог пойти в офис кузена Сола на Медисон-авеню и признаться в том, что произошло, но он не собирался так поступать. Он бы мог отправиться в дом в Ларчмонте и... Чем бы он там занимался? Питер представил себе идеально чистые комнаты, дремлющие в полуденной жаре; бассейн, неподвижный, как глаза спящего; Инес, крутящуюся на кухне и готовящую еду на вечер, грохочущую посудой и приборами. И только Питер был бы там не к месту. Нет, туда он не пойдет.

Он двинулся по залу, перемещаясь от одного столба света, падающего из высоких полукруглых окон, к другому. Он вдруг подумал о том, насколько странное то словосочетание, которое он так часто слышал от кузена Сола и других; оно присутствовало в названии самих лагерей, из которых людей вроде Питера, если им везло, забирали: перемещенные лица. Кто бы мог подумать, что это так хлопотно – быть перемещенным, – хотя, когда перестаешь думать об этом, начинаешь осознавать все неудобство; если бы кость вышла из сустава, то было бы больно наступать на нее, разве не так? Она бы все время болела. Питер двинулся по периферии большого зала, прижимаясь к стенам, чтобы не вставать на пути у этих целеустремленных американцев с их

цокающими туфлями, шляпами, галстуками и помадами. Каждый решительно торопился именно туда, куда ему надо, а Питер ощущал себя деталью от развивающей игры, которую его мама подарила Виви и Джинджер на их первый день рождения и которую те очень любили. Это была доска, в которой были вырезаны разные фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, – с подходящими под отверстия фигурами; всегда терпеливая и последовательная Виви быстро превратилась в эксперта по засовыванию правильных фигур в соответствующие отверстия, но именно сейчас Питер вспомнил, как Джинджер безрезультатно била, била и била звездой по дырке в виде квадрата в попытке уместить ее туда, все больше краснея и злясь.

Он прошел мимо газетного киоска, бросая взгляды на чистильщика обуви, склонившегося перед скамейкой со своими щетками; на продавцов сосисок, рогаликов и пирожных. Питера все время посещала мысль: как жаль, что у него такой плохой аппетит теперь, когда в любую минуту, хоть днем, хоть ночью, он мог подойти и, имея деньги, купить, что душа пожелает; а всего пять месяцев назад один из соседей Питера по койкам в Аушвице умер, по сути, от того, что слишком увлекся едой – проглотил целиком подаренный ему из лучших побуждений одним из освободителей шоколадный батончик, который оказался слишком питательным для его истощенного желудка. Возле уходящей вниз лестницы скрипач играл грустную и сентиментальную мелодию, которую Питер тут же узнал, – вторую часть «Из Нового Света» Дворжака. Против своей воли Питер позволил мелодии затянуть себя. Теперь он боялся музыки, хотя когда-то любил – особенно что-нибудь классическое; Маша, любившая популярные баллады и зарубежный джаз, постоянно подтрунивала над его предпочтениями. «Мой занудный бургер, – говорила она, целуя его в шею. – Мой безнадежно устарелый муженек...» Любовь Питера к Брамсу, Бетховену и Баху перешла к нему от матери; когда он был малышом, она насвистывала ему все эти мелодии, покачивая Питера у себя на коленях, а он тем временем хватал руками ее сложенные в трубочку губы и длинные локоны («Когда я выходила за твоего отца, – частенько говорила она, – я могла сидеть на своих косах»), а затем внезапно тоже засвистел. Музыка стала речью Питера еще до того, как он освоил саму речь, и он тоже обучал ей Джинджер и Виви, покачивая двойняшек на коленях и насвистывая им отрывки из его любимого «Пети и волка» – эту музыку любила даже Маша, потому что Прокофьев был в моде, а девочки всегда начинали галдеть, когда начиналась та часть, которая, как они думали, была написана специально для него, их собственного отца! «Там поют “Питер”, папа, там поют тебя, там поют ТЕБЯ!» Как же они любили тему мальчика-победителя – юного героя, который поймал лесное чудище и отправил его в зоопарк! Они тогда еще не знали, что в итоге серый волк придет к ним самим.

Скрипач-попрошайка, как назвал бы его кузен Сол, поднял взгляд, и Питер осознал, что плачет и позвякивает мелочью в кармане. Он вытащил монеты – все, что были, – бросил их в футляр с красной подкладкой и побежал. Как можно быстрее. Прочь, прочь оттуда! Ему не было необходимости оставаться здесь, на этом обрывистом краю континента, со всей этой благотворительностью Сола и заботливостью Эстер – в месте, где для Питера всегда существовала опасность упасть в омут воспоминаний. А почему бы и нет? Хороший повар везде найдет себе место! Он рванул через главный вестибюль к билетным кассам, ощущая неожиданный, почти безумный, душевный подъем. Он мог поехать на запад в какой-нибудь ковбойский лагерь, где бы варил бобы в железном котелке на огне. Он мог рвануть в Монтану, Айдахо, в места, куда кузен Сол ездил на рыбалку, и стать личным шеф-поваром в лагере какого-нибудь богача. Да он мог двинуть и через всю страну в Голливуд – а почему нет? – и готовить гамбургеры в закусочной, за стойкой которой появлялось бы еще больше звезд. Как бы это понравилось Маше, которую так сильно завораживала волшебная страна, известная как Лос-Анджелес, что каждое утро за завтраком она зачитывала Питеру отрывки из киножурналов, как, например: «Послушай, Петель, тут говорится, что в Калифорнии ты можешь протянуть руку из окна и сорвать лимон прямо со своего собственного дерева! Представляешь?.. Петель, а ты знал, что в Калифорнии никогда не бывает снега?» Маше, которая настолько боготворила всех американских актрис, что настояла на том, чтобы ее девочек звали Вивиан и Джинджер... Ничего не видя перед собой, Питер толкнул женщину в конце очереди в кассу и, задышавшись, проговорил:

- Entschuldigung Sie[29 - Прошу прощения (нем.)]!

Женщина, миловидная блондинка с красной помадой на губах, уставилась на него. На ней было толстое пальто, слишком теплое для вокзала; в руках она держала саквояж, и Питер поначалу решил, что она, должно быть, беженка. Но нет, понял он, взглянув на ее коротко постриженные, как у американской звезды, волосы. Он оказался прав тогда, выходя из «Ойстер Бара». Они догнали его. Он повсюду видел призраков.

Он занял место в конце очереди, опустил голову и обливаясь потом. Сумасшедшая эйфория померкла, словно выключенный свет, как и предполагал Питер. Волоча ноги, он продвигался вперед, вытирая лоб платком с монограммой Эстер; добравшись наконец до окошка кассы, он вытащил полученный от Лео и уже пропитанный потом конверт, протолкнул его напуганной девушке-кассиру и, на этот раз по-английски, произнес:

– Удивите меня.

8

Получив билет, он вновь двинулся в главный вестибюль в направлении железнодорожных путей, на которые ему указала кассирша. «Сэр, я не понимаю... вы хотите, чтобы я выбрала?» – спросила она, и Питер ответил: «Да, куда угодно, место прибытия значения не имеет, лишь бы поезд прибыл побыстрее». У турникетов он предъявил свой билет стоявшему там работнику в униформе; мужчина проверил его и, протянув обратно Питеру, пожелал хорошего дня. Питер заверил, что именно так и будет. Он все ниже и ниже спускался на эскалаторе, напоминая ему длинный тоннель станции «Зоологический сад» Берлинского метрополитена до того, как ее разбомбили, и, наконец, вышел с остальными путешественниками на платформу.

Все стояли: кто-то читал газету, остальные выглядывали на пути в ожидании поезда. Над головой в поисках выхода билась пойманная в ловушку птица – звук ее крыльев эхом разносился по платформе. Еще кое-что показалось Питеру забавным: учитывая его депортацию в Терезин в грузовом вагоне и его второе путешествие в Аушвиц, он должен был бы бояться поездов. Но нет, не боялся. Более того, он до этой минуты вообще не задумывался о виде транспорта – может быть, из-за того, что американские дороги совершенно не походили на европейские, а эта платформа – на ту, на которой он стоял со своей женой и девочками холодным днем зимой 1942 года, на сортировочной станции Грюнвальд в Берлине после двух ночей, проведенных в тесноте в синагоге на Левецовштрассе. Двойняшки попали в синагогу впервые, так как Питер, как и его отец – к великому огорчению матери, – был нерелигиозен, а Маша, естественно, была гоем. Его девочки, Вивиан и Джинджер, оказались не в восторге от знакомства с местом организованной религии, которое для них состояло в дреме на коленях у родителей, сидящих на длинных деревянных скамьях плечом к плечу с еще тремя сотнями других людей в помещении, настолько холодном, что, несмотря на такое количество народа, при дыхании изо рта вырывался пар. То утро, когда они покинули синагогу, тоже было холодным: занималась ясная, солнечная, морозная заря, разукрасившая узорамми стекла; холод, как талая вода, просачивался сквозь их пальто, когда они двигались в Грюнвальд. Они стояли на платформе: зубы его дочек стучали, носы покраснелись, и Маша, больше всего боявшаяся пневмонии после того, как от нее умерла мама Питера, сказала: «Петель, тебе нужно найти платок для Виви.

Свой она где-то потеряла, а теперь вся дрожит», а Питер ответил: «Еще не поздно. Вы еще можете уйти. Забери девочек домой и свяжись с друзьями моего отца по поводу документов. Ты – арийка, а детей, сама знаешь, могут отпустить с тобой», и Маша нагнулась, взмахнув белокурыми волосами, натянула воротник Виви ей на лицо и произнесла: «Не начинай снова, Петель. Мы остаемся с тобой. Так что иди и разыщи что-нибудь потеплее, чтобы укрыть голову Виви», и Питер сказал: «Есть, фрау генерал. Я мигом». Все еще держа Джинджер за руку, он повернулся осмотреть толпу, изучая, где можно украсть платок, и заметил неподалеку необъятную женщину, похожую в своих мехах на енота. Конечно, ей не нужен был головной платок так, как он был нужен Виви, правда ведь? Его бы отец забрал головной убор – в этом Питер был уверен, – стащил бы его с головы этой пожилой дамы без раздумий. «Не будь такой рохлей, парень, иначе мир сожрет тебя с потрохами!» Но что, если у этой пожилой дамы в легких споры, как были у матери Питера, и кража ее шали была равносильна подписанию ей смертного приговора? И все же Питер отпустил руку Джинджер и стал пробираться бочком к пожилой женщине, но в этот момент нацисты начали толкать всех вперед с помощью дубинок; начались массовые беспорядки, крики и толкучка; Питер пытался прорваться обратно к своим девочкам, но лишь краем глаза увидел, как мелькнула белым пятном на зимнем солнце рука Джинджер, когда она потянулась к нему и закричала: «Папа!», а потом его семья исчезла. Питера втолкнули в один поезд, а их в другой, и только после войны, сначала в кабинете кузена Сола, когда тот повесил трубку и с тяжестью в голосе произнес: «Мне очень жаль, но я получил это из надежного источника», а затем в офисе Красного Креста, где Питер проверял и перепроверял списки, он выяснил, что пока он, везунчик, направлялся в Терезин, рабочий лагерь, Маша, Джинджер и Вивиан поехали напрямик в Аушвиц.

Питер ощущал вибрацию в желудке и ногах от подъезжающего к станции поезда. Он изучал рельсы. Устанавливали ли третий рельс, который убил бы его током, только в метро? Если так и здесь такой штуки не было, то достаточно ли быстро двигался поезд? Это не имело значения; если Питер прыгнет быстро и локомотив переедет его, то он просто раздавит Питера. Он напряг ноги. Посмотрел на приближающийся состав. Посмотрел на рельсы, на насыпанный между ними угольный мусор, выбрал место. Вот сейчас. Сейчас. Сделай это сейчас. Он обливался потом; напряженные мышцы дрожали, как тогда, когда он и его семья поднялись на фуникулере на вершину Цугшпитце, и его девочки весело прыгали по вершинам Альп, словно маленькие козочки в летних платьицах, а Маша, смеясь, подзывала его: «Ну, пойдём!», но ноги Питера окончательно сковало, и той ночью, когда он лежал возле Маши в их номере в отеле, его мышцы болели так сильно, что он не мог пошевелить ногами.

Поезд запыхтел в каких-нибудь нескольких дюймах от его лица и остановился. Питер зажмурился, из глаз потекли слезы. Люди обходили его, пробираясь к поезду: сначала вежливо, а потом, когда до отправления оставалось все меньше времени, толкаясь и пихаясь. «Что за задержка, приятель?» – говорили они, а потом: «Видимо, он очень сильно обрадовался». Было слишком поздно. Питер мог дождаться следующего поезда или следующего после того; он мог стоять на этой платформе, пока тысячи поездов будут прибывать и убывать, но он не смог бы прыгнуть и присоединиться к своим родным, потому что он был, как сказал его отец, рохлей; потому что он был, как заметил кузен Сол, слишком слаб, слишком пассивен и нерешителен, чтобы быть полезным хоть кому-нибудь, не говоря уж о его семье.

– Поездка заканчивается! – прокричал проводник, и какой-то мужчина, пробегая мимо, толкнул Питера и бросил: «Эй, приятель, тут вообще-то кому-то на поезд надо». Питер извинился на английском. Он открыл глаза и вытер лицо. Затем, как он делал всю свою жизнь, он позволил течению подхватить его, и, несомый инерцией чужих людей, вошел в вагон.

Благодарности

Еще раз хочу поблагодарить тех переживших холокост, кто предоставил мне невероятную привилегию записать их свидетельства для Фонда исторических видеоматериалов Стивена Спилберга «Пережившие Шоа». Также я очень признательна моим сестрам по «Центральному вокзалу», в частности, Кристине Макморрис, создавшей эту антологию; Синди Хван и команде «Беркли/Пингвин Рэндом Хаус» за то, что наши новеллы увидели свет, а также моему суперагенту Стефани Абу, которая сделала все это возможным.

Ветка орешника

Сара Маккой

21 сентября 1945

Заплакал ребенок. Плач разносился эхом по мраморной галерее и поднимался вверх, к необъятному потолку с нарисованными созвездиями. Колоссальный синий купол, отчасти похожий на беззаботное небо над Арденнами, но более всего – на океан. Он давил на нее, и казалось, вот-вот раздавит.

От рыданий малыша у Каты намокли груди. Она порадовалась, что надела зимнее пальто, несмотря на довольно теплую погоду в Нью-Йорке. Она родила сына в прошлом декабре. Бесконечно давно, целую жизнь назад. Его забрали и усыновили добрые люди в Мюнхене. Бесплодная пара, школьная учительница ее младшего брата. Кате говорили, что ребенка там любят. Конечно, думала она, кто бы такого не любил? У него были щечки ангела, пухлые ножки и ручки – врачи из «Лебенсборна»[30 - «Источник жизни» (нем.) – организация, основанная в 1935 году по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Входила в состав Главного управления по вопросам расы и поселения для подготовки молодых «расово чистых» матерей и воспитания «арийских» младенцев.] только одобрительно покачивали головами. Он был совершенен. Как и его мама, добавляли медсестры.

Ката теперь стыдилась той горделивости, которую вызывал у нее этот комплимент. Она назвала его Яном и все спрашивала себя, дали ли его новые родители ему новое имя или оставили старое. Ее же имя он узнать не мог. Документы о происхождении были сожжены.

Малыш снова зарыдал. На этот раз плач скрикошетил, словно пуля, отчего руки Каты задрожали от локтей до кончиков пальцев. Она засунула кисти в шерстяные карманы. В левом лежали два паспорта. В правом – темно-красная шляпная булавка с оперением, как у стрелы, но острая, как шприц. Ката осторожно ткнула себя ею в бедро. Достаточно глубоко, чтобы унять дрожь, но недостаточно для того, чтобы оставить след. Все аккуратно и опрятно – оптимальная рана. Она была своенравной. Неподходящая черта. Существовали уловки, чтобы скрыть свою истинную сущность. Матери из Программы научили ее. В месте укола растеклась успокаивающая боль, а ее тело затвердело, словно глиняный горшок в печи для обжига.

Поезд въехал на вокзал, заглушая плач ребенка. Локомотив зашипел, скрежеща по металлическим рельсам колесами, и со вздохом остановился. Клубы пара на миг сделали этот осенний денек еще теплее.

От жара у Каты закружилась голова. Она выдернула все еще воткнутую булавку и направилась к ряду билетных касс.

Ожидая своей очереди, она снова стала мысленно тренироваться. Бостон, Массачусетс. Это было нелегко произнести – по крайней мере, ей. Звучало слишком по-немецки. Притом что она прекрасно понимала английский и французский языки, ее дикция была в лучшем случае на начальном уровне. Ей стоило лучше учиться в школе. А теперь уже слишком поздно. У американского произношения был совершенно нехарактерный ритм, слова во рту казались размякшими, словно гниющие овощи. Согласные звуки не воспринимались. Поэтому во время морского путешествия она старалась не открывать рта. Вместо этого она внимательно прислушивалась к американцам: к интеллигенции, вкушающей гусиный паштет и вяленые колбаски в увенчанном сводами обеденном зале; к пассажирам третьего класса, курящим сигареты, стоя спиной к ветру, и коротающим время; к официантам, приносившим ей чай и принимавшим ее молчание за снобизм; к детям, играющим в мяч на палубе; и в особенности к гувернанткам, сбившимся в кучку, как полевые ромашки, и не сводящим глаз со своих подопечных.

От них она и узнавала самые широко используемые просторечия. «Рехнуться» не имело никакого отношения к слову «рейх» ни на английском, ни на немецком. «Валять дурака» означало вести себя глупо. Важничать – это было положительное качество. «Снотворное» означало, помимо прочего, и алкоголь, и использовался он точно так же, как и в программе «Лебенсборн»: три «булька» беспокойным детишкам в молоко перед сном – но не больше, иначе они могли не проснуться в положенное время. «Бред сивой кобылы» использовался в различных ситуациях, так что Ката все еще не могла точно уяснить себе смысл фразы. А еще были тихие разговоры о войне: о «Малыше» и «Толстяке»[31 - «Little Boy» и «Fat Man» – кодовые названия для атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки соответственно.], «япошках», «Семейном фронте», «продовольственных пайках» и, в первую очередь, о тех, кем бы назвали ее, посмей она открыть рот, – о «наци», «фрицах», «немцах».

Она записывала все эти полезные и оскорбительные слова в свой блокнот и практиковалась произносить их шепотом в своей койке каждую ночь. Основное она знала: да, нет, спасибо, извините, пожалуйста. Эти пять слов – вместе с ее люксембургскими документами и густым слоем помады на губах, – помогли ей пройти через боевую охрану на острове Эллис.

Ее взяли в Программу не из-за нравственности и интеллекта, а из-за ее улыбки и способности приспособиваться. Когда-то она могла позволить себе быть наивной, но не сейчас. У тех, кто выжил, были лица невинных овечек и коварство змей. Она это хорошо усвоила и видела наглядные доказательства в своих соседках по комнате в Штайнхеринге. Овечка Хейзел. Змея Бригитт.

При воспоминании о них она вздрогнула, и на глаза навернулись слезы.

Милая Хейзел.

«Мне жаль. Мне так жаль».

Ее руки вновь затряслись, поэтому ей пришлось достать булавку и колоть, колоть, колоть.

Очередь за билетами сдвинулась вперед, но Ката слишком сильно погрузилась в себя и позволила растянуться медленно плетущемуся хвосту. Тощий как жердь мужчина случайно подтолкнул ее, и игла впилась глубже, чем обычно. Она охнула.

– Entschuldigung Sie[32 - Прошу прощения (нем.)], – заикаясь, проборкотал мужчина. Его быстрая, сбивчивая речь больше походила на бляенье ягненка.

Извинение, незнакомое для окружающих и более похожее на невнятное бормотание, могло остаться незамеченным. Просто реплика ходячего призрака. Ничего более. Но только не для Каты. Это был язык и страна, которым она отдала детей и принесла клятву, ради которых она шла на жертвы и убивала.

Он виновато склонил голову. На нем была форма уборщика посуды с рукавами, закатанными по локоть, которые открывали выбитый чернилами ряд цифр. Ошибки быть не могло. Наколка, казалось, поднялась с его кожи и двинулась на нее строем черных муравьев. Она уставилась на нее, не в силах отвести глаза. Еврей из Германии – здесь?

Заметив ее взгляд, он скрестил руки, прикрывая клеймо, и уважительно отступил на шаг назад.

Ката выдернула булавку из кожи, почувствовав, как теплая кровь просачивается через чулки. Пламя стыда опалило ей спину. Ей хотелось повернуться и поговорить с ним – на их языке. Рассказать о том, сколько всего она передумала с тех пор, как узнала подробности о еврейских лагерях. Она не имела понятия об истинном положении дел. Может, неосознанно, а может – нет. В какой-то степени она чувствовала себя такой же виноватой, как и те нацистские офицеры, с которыми она спала и от которых родила дочь и сына.

Nein[ЗЗ - Нет (нем.)], она прикусит свой язык и оставит этого мужчину в покое, позволив ему начать новую жизнь без напоминаний о войне и мучениях. Позволит оставить прошлое позади. Позволит сесть на самый быстрый поезд в будущее. Разве не за этим они все оказались на этом вокзале?

– В каком направлении, мисс? – спросил мужчина из-за зарешеченного окошка кассы.

Ее очередь. Она репетировала правильный ответ на корабле на протяжении нескольких недель. «Мас-са-тчу-ситц». Она представила, как читает по фонетическим слогам со страницы из своего блокнота. Она не запнется, если будет произносить их медленно, но чем медленнее говоришь, тем больше твоя речь похожа на иностранную. Она стерла бисеринки пота, выступившие на лбу, прежде чем они попали на румяна.

– Массачу-сетс, – быстро проговорила она начало и разделила слово на две части, смахнув между ними локон. Вроде бы это сработало. Мужчина продолжал сосредоточенно заполнять квитанцию.

– Амхерст, Спрингфилд, Салем, Бостон?

К своему облегчению, она идеально симитировала произношение:

– Бо-стэн.

Тут он поднял глаза и, увидев ее, изогнул губы в улыбке.

– Да? У меня братец там. Плотником работает. Вы к семье или друзьям?

Она кивнула.

- Да.

Милдред - все ее звали Милли - была ее троюродной сестрой. Она вышла замуж за богатого торговца и переехала десять лет назад в Бостон.

«Ты не можешь вернуться обратно в Люксембург, - написала Кате ее мать, когда война закончилась. - Это слишком опасно. Твои братья еще слишком малы и учатся в школе, а твой отец лишился своего дела».

Проще говоря, ее выгнали из дома. Поэтому она написала единственному члену семьи, разорвавшему все связи с фамилией Каттер.

Милли согласилась предоставить ей жилье и сохранить в секрете ее происхождение, если она самостоятельно оплатит свою дорогу до Массачусетса и станет работать в семье в качестве гувернантки. У нее было дел по горло с тремя дочерьми восьми, шести и двух лет. А зимой ожидали и четвертого малыша. Она надеялась, что мальчика. Матери из программы «Лебенсборн» получали особые привилегии и почетные удостоверения за отпрысков мужского пола. Милли же хотела угодить своему мужу. Ката это понимала.

Конечно, она не испытывала восторга от идеи изображать из себя приглашенную няньку в доме своей кузины, но она была не в том положении, чтобы спорить с человеком, предложившим ей безвозмездную помощь. Ей нужно было незамедлительно покинуть Германию. Поэтому она собрала все свои сбережения и продала все, что имело хоть какую-то ценность: ювелирные украшения от офицеров СС, ночные сорочки из французского кружева, шелковые чулки, перьевые шляпки, меховые палантины, свою любимую пару босоножек с золотыми блестками, щетки для волос из слоновой кости, косметику и мыло, даже наполовину использованную лавандовую тальковую присыпку. И все это за бесценок. Лучше уж иметь твердую монету, решила она, чем цепляться за вещи лишь для того, чтобы их конфисковали во время ареста. Она взяла только то, что надела на себя, и небольшой чемодан с туалетными принадлежностями, сменой нижнего белья, пижамами, пачкой фотографий и личными вещами. Все остальное она продала, вплоть до своих отрезанных волос. Короткая стрижка выглядела более американской, сказала она себе, избавившись от привычных светлых кос.

В общей сложности она собрала достаточную сумму, чтобы заплатить садовнику из Дома Штайнхеринга за то, что тот отвезет ее на берег моря в своем крытом продуктовом грузовичке; оплатить одноместную каюту на пароходе, отправляющемся в Америку, ночевку в нью-йоркском отеле для женщин и этот железнодорожный билет с Центрального вокзала до Бостона. Она была на последнем отрезке своего пути и не могла позволить себе ошибиться по невнимательности.

Кассир склонил голову, словно ожидая от нее продолжения. Вместо этого она молча отсчитала несколько хрустящих американских банкнот, взъерошила свои белокурые волосы и, улыбаясь, чуть опустила подбородок. Он подмигнул, взял деньги и поставил печать на квитанцию.

– Будете возвращаться этим же путем, заходите поздороваться. – Он постучал по кассе. – Это моя кабинка. Я буду здесь.

Он просунул ее билет под решеткой, но не убрал пальцы, так что ей пришлось их коснуться.

Американцы, немцы, подумала она, везде одно и то же. Мужчины везде были мужчинами.

– Спасибо, – проговорила она и двинулась прочь, прекрасно осознавая, что его взгляд следит за каждым движением ее бедер.

Она слегка кивнула головой, проходя мимо мужчины-еврея, но тот уставился в полированный пол.

Где-то заиграла скрипка: медленная, грустная мелодия, которая не отскакивала от стен, как детский плач, а скапливалась во внутренней части вокзала, словно роса в гравюре надгробного камня.

Ката двинулась напрямик через главный вестибюль, где песня затерялась посреди толпы людей, снующих туда-сюда и поглядывающих то вверх – на расписание поездов, то вниз – на свой багаж; носильщиков и проводников, постукивающих в нетерпении по часам; детей, держащих своих родителей за руки; вездесущих солдат в форме. Материальных теней, тычущих в нее невидимые пальцы: «нацистка». Она слышала многоголосый шепот в ритмичном

пыхтении локомотива: «нацистка, нацистка, нацистка». Она посмотрела на билет, на табло и затем отыскала свой путь.

Садись, садись, говорила она себе. Внутри будет безопасно. Внутри она уже будет в пути.

На платформе между ней и ее поездом стояла одинокая девочка – прямая, как игла, – посреди суматохи. Она оглядела толпу, а затем остановила свой взгляд на Кате. Ее глаза были голубее и прозрачнее, чем глаза любого из детей, рожденных по программе «Лебенсборн», – голубее, чем глаза дочери Каты. Ката не могла отвести взгляда. Девочка приподняла голову под ее взглядом, но не улыбнулась – ее зубы были крепко сжаты, а глаза задумчиво буравили Кату. У нее внутри все сжалось. Мурашки побежали по ее спине; возникло пугающее ощущение, что девочка видит ее. Видит все: Штайнхеринг, офицеров, малышей и Хейзел.

Она торопливо пошла по платформе, несмотря на то что у нее был билет в первый класс. Лучше уж было прогуляться вдоль всего поезда, лишь бы избежать тех пронзительных глаз. Так она и поступила.

Найдя свое купе, она потянула за створку двери, поставила чемодан, села и выдохнула. Наконец-то. Голоса, музыка, свистки и крики на вокзале уменьшились до приглушенного гомона. Ее бедро подергивало от укола. Она скинула с себя шерстяное пальто и потерла больное место.

– Иголка затупилась, – сказала Хейзел в тот ужасный вечер.

Они только что пришли домой с рынка. Хейзел работала над шнуровкой дирндля[34 - Дирндль – женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов.] и слишком сильно протолкнула иглу через материю. Острие вонзилось ей прямо в руку. Умением шить она никогда не отличалась. Она прижимала к ране обрезок ткани – Кате показалось, что крови, пропитавшей лоскут, было больше, чем от обычного укола.

– Нет ничего хуже, чем тупой конец, – захихикала Бригитт и положила свои мокрые варежки возле печи. – Скучала по нам? – Не дожидаясь ответа, она продолжила: – Какой мерзкий январь выдался. Не знаю, как мы будем

производить качественную немецкую расу на диете из корнеплодов. Нам нужно мясо! Я бы что угодно отдала за кусок торта «Черный лес».

Ката отодвинула коричневые вставки в дирндль, чтобы поставить на стол сумку с продуктами.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Уотергейт – политический скандал в США 1972–1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона.

2

Grand Central Terminal – старейший и известнейший вокзал Нью-Йорка.

3

Штетл – небольшое, как правило, поселение полугородского типа, с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в исторический

период до Холокоста.

4

Театральный квартал – квартал в центральной части Манхэттена, где сосредоточены крупнейшие бродвейские театры, а также другие театры, кинотеатры, рестораны, отели и прочие развлекательные учреждения.

5

Красавица (идиш).

6

Милая (чеш.).

7

Чешский композитор, представитель романтизма.

8

Ресторан быстрого питания, где готовая еда и напитки продаются через торговые автоматы.

9

Моя любимая (нем.).

10

Дворец Шарлоттенбург (нем.).

11

Мой красивый мальчик (идиш).

12

Дрейдл – четырехгранный волчок, с которым, согласно традиции, дети играют во время еврейского праздника Ханука.

13

Менора – золотой семирожковый подсвечник на семь свечей (семисвечник), который, согласно Библии, находился в Скинии собрания во время Исхода, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения Второго Храма.

14

Талит – молитвенное облачение в иудаизме.

15

Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9–10 ноября 1938 года.

16

Размазня (идиш).

17

Растяпа (идиш).

18

Американская актриса.

19

Пожалуйста (нем.).

20

Прошу прощения (нем.).

21

Сынок (идиш).

22

Американский фотограф и фотожурналист.

23

Старик (идиш).

24

Десять дней между праздниками Рош ха-Шана и Йом Кипур.

25

Главный номер программы (фр.).

26

Доброе дело (идиш).

27

Французские блины.

28

Американская актриса.

29

Прошу прощения (нем.).

30

«Источник жизни» (нем.) – организация, основанная в 1935 году по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Входила в состав Главного управления по вопросам расы и поселения для подготовки молодых «расово чистых» матерей и воспитания «арийских» младенцев.

31

«Little Boy» и «Fat Man» – кодовые названия для атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки соответственно.

32

Прошу прощения (нем.).

33

Нет (нем.).

34

Дирндль – женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/sara-dzhio/mesto-vstrech-i-rasstavaniy>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)